



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

DK

2096

H57

S64

BUHR A



a39015 01810841 8b

66241

70

1250



1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

ДБ
350
С 50

2013
44

92/51

ЖИЗНЬ И ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ

А. И. ГЕРЦЕНА

ВЪ РОССИИ И ЗА ГРАНИЦЕЙ.

Smirnov, Vladimir Dmitrievich.

БІОГРАФИЧЕСКІЕ НАБРОСКИ

В. Д. Смирнова.

ЦѢНА 1 РУБ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Ю. Н. Эрдикъ, Садовая, № 9.
1897.

N

3.C.
2846.
F

П

DK
209,6
.H57
564



схв. н. п.
В. Д. Р.
11.11.71
902036-293

О Г Л А В Л Е Н І Е.

	СТР.
Вмѣсто предисловія	5
I. Дѣтство, отрочество, юность	19
II. Какъ учился Герценъ	35
III. Дружба съ Огаревымъ	38
IV. Университетъ	45
V. Послѣ университета	54
VI. Владиміръ на Клязьмѣ	72
VII. Москва. — Новгородъ. — Петербургъ.	78
VIII. Литературная дѣятельность А. И. Герцена	100
IX. Заграницей	123
X. Переѣздъ въ Лондонъ. — Послѣдніе годы	142



ВМѢСТО ПРЕДИСЛОВІЯ.

Освобожденіе крестьянъ по манифесту 19 февраля 1861 г.— дѣло, въ которомъ теперь мы успѣли уже значительно разочароваться,—было однако для нашихъ отцовъ призывомъ къ полному обновленію жизни и прощаніемъ со всѣмъ старымъ, что тревожило, мучило и возбуждало отвращеніе и даже ненависть. Манифестъ былъ прочитанъ по всей странѣ при самой торжественной обстановкѣ, при звонѣ колоколовъ, священниками въ полномъ облаченіи, и крѣпостная Россія исчезла съ лица земли: пока она переводилась въ разрядъ временно-обязанныхъ. Во многихъ и многихъ мѣстахъ народъ праздновалъ, но въ сущности это былъ праздникъ не сѣрой мужицкой Россіи, а главнымъ образомъ интеллигенціи, которая увидѣла въ манифестѣ свою побѣду и прочла въ немъ призывъ къ политической жизни.

На первыхъ порахъ она даже не спрашивала себя, такъ ли это, и съ юношеской непосредственностью предалась восторгу и ликованію, не предчувствуя и не понимая, что она и такъ уже зашла слишкомъ далеко и что скоро ей придется вернуться назадъ и опять приняться за мирныя и неслышныя дѣла такъ называемыхъ свободныхъ профессій или переполнять собою департаменты. Теперь мы понимаемъ, что иначе и быть не могло, что интеллигенція не имѣла подъ собой почвы, что десятковъ людей и два-три кружка, которыми она гордилась въ прошлой своей исторіи, значили мало, вѣрнѣе, не значили почти ничего передъ громадной окружавшей ихъ жизнью. Но тогда, особенно въ первую минуту, ничего этого не было видно, а немногіе скептическіе голоса терялись въ общемъ шумѣ восторговъ.

Винить за это было бы прямо грѣшно: человѣкъ, вышедшій на

свободу, не может на самомъ дѣлѣ приняться съ первой же минуты думать о томъ, что его ждетъ въ будущемъ,—онъ прямо радуется и дышетъ свѣжимъ воздухомъ, забывая обо всемъ. Ему хорошо и все окружающее кажется хорошимъ, ему легко и жизнь представляется легкой, радостной. Интеллигенція 60-хъ годовъ пережила эту минуту, пережила ее полною грудью и долго, годы и даже десятки лѣтъ, не могла забыть о ней. Восторгъ передавался со дня въ день все ослабѣвавшей волной, пока не распустился мало по малу въ сѣромъ туманѣ обыденной жизни. Одна, дѣйствительно, хорошая минута, одна историческая удача оказала неотразимое, мощное вліяніе на міросозерцаніе цѣлыхъ тысячъ людей, увеличила чувство ихъ собственнаго достоинства, надолго положила на ихъ рѣчи отпечатокъ самоувѣренности и гордаго сознанія того, что мы можемъ вліять на жизнь, мы можемъ устраивать ее по своему желанію и разумнѣю. Въдѣ нѣтъ болѣе могущественной иллюзіи, и поколѣніе 60-хъ годовъ испытало на себѣ всю ея силу.

Не все къ тому же было и иллюзіей, кое-что присоединилось къ ней и настоящее. Такъ или иначе мечты были осуществлены, а сознаніе того, что мы можемъ сдѣлать, мы можемъ устраивать свою жизнь сообразно съ разумомъ, однимъ историческимъ своимъ краемъ опиралось на дѣйствительность. Попробуемъ заглянуть въ ту обстановку.

Я уже замѣтилъ выше, что для насъ манифестъ 19-го февраля не можетъ представлять и доли того интереса, значенія, обаянія, наконецъ, которые онъ имѣлъ тридцать пять лѣтъ тому назадъ. Мы плохо знаемъ его содержаніе и смотримъ на него просто какъ на историческій документъ, далеко не оправдавшій возложенныхъ на него надеждъ.

Порою даже, подчиняясь впечатлѣніямъ современности, мы склонны умалать его значеніе, низводя всѣ его послѣдствія къ нулю или прямо къ отрицательной величинѣ. Мы говоримъ, что прежде, правда, народъ былъ закрѣпощенъ, терпѣлъ всякія обиды и истязательства отъ помѣщиковъ, но этотъ закрѣпощенный народъ жилъ въ сравнительномъ достаткѣ, и истязанія и обиды являлись не правиломъ, а исключеніемъ. Мужика и барина—продолжаемъ мы—соединялъ общій интересъ: хозяинъ-помѣщикъ понималъ и видѣлъ, что онъ можетъ быть богатъ лишь при условіи, если его мужики не разорены, если у нихъ есть скоть, запасъ для посябъ инвентарь, изба,—

и даже если онъ сравнительно доволенъ своею судьбою. Случается, что порою мы впадаемъ въ тонъ Карлейля, утверждая, что не только государственныя установленія, не только общая выгода, а что-то другое, болѣе сильное и чистое, служило связью между помѣщиками и ихъ холопами, и это болѣе сильное и чистое — взаимная привязанность, благожелательная у однихъ, покорная у другихъ. Отношенія отцовъ къ дѣтямъ, патріархальные обычаи, любовные нравы рисуются подчасъ — къ счастью не часто — нашей фантазіи. А, разумѣется, жизнь, вся сведенная къ рублю, къ постоянному страху передъ завтрашнимъ днемъ, къ ожесточенному прискиванію себѣ какого нибудь мѣста и какой нибудь работы, а главное къ полному одиночеству человѣка, чувствующаго, что ни до чего ему нѣтъ никакого дѣла, — куда ниже той, гдѣ съ одной стороны были отцы, съ другой дѣти.

Ну, что за бѣда, если отецъ порою отправить сына или дочь на конюшню и сдѣлаетъ тамъ имъ при помощи дюжихъ кучеровъ благожелательное внушеніе; сынъ или дочь могутъ лишь благодарить за науку и низко кланяться. Розги розгами, оброкъ оброкомъ, барщина барщиной, зато на сценѣ крѣпостного права фигурируютъ такія высокія чувства, какъ любовь, преданность, уваженіе.

Все это мы говоримъ порою, давая доказательство своей значительной растерянности и полнѣйшаго невниманія къ факторамъ прошлаго. Всѣ эти соображенія не могли быть въ шестидесятыхъ годахъ: они показались бы уродливыми, за ними немедленно усмотрѣли бы лишь личный барскій эгоизмъ, желаніе продолжить въ безконечность жизнь на счетъ дарового крестьянскаго труда. Но въ наши дни это можно высказывать безъ всякихъ подозрительныхъ побужденій.

▲ Мы ясно видимъ, что манифестъ 19-го февраля былъ уступкой старому новому, мѣрой, какъ бы упускавшей изъ вида, что населеніе возрастаетъ и будетъ возрастать со дня на день, и поэтому-то наше отношеніе къ нему не имѣетъ и не можетъ имѣть ничего общаго съ отношеніемъ людей, для которыхъ онъ несомнѣнно былъ осуществленіемъ долгихъ историческихъ желаній.

✓ На самомъ дѣлѣ съ извѣстной точки зрѣнія манифестъ былъ торжествомъ и побѣдой. Онъ завершилъ собою громадный періодъ умственнаго и экономическаго развитія Россіи, и завершилъ его честно, хорошо, прогессивно. Для его порожденія удивительнымъ

образом соединились и всемогущество императорской власти, и вѣсковое воздѣйствіе Европы, и работа интеллигентной мысли за цѣлое столѣтіе, и задолженность дворянскихъ имѣній, и неясное волненіе народной массы, искавшей вольности то въ сектантскихъ ученіяхъ, то въ дикихъ расправахъ съ помѣщиками. Несмотря на его неполноту, манифестъ удивительно жизненный документъ; въ его сухихъ статьяхъ и параграфахъ опытный взглядъ историка найдеть резюмированную работу четырехъ поколѣній, резюмированную сухо и сдержанно, но все же съ сознаніемъ важности и громадности предпринятаго дѣла.

Манифестъ въ той формѣ, въ какой онъ намъ извѣстенъ, составленъ и редактированъ въ петербургскихъ канцеляріяхъ. Всѣ характерныя особенности такого источника отпечатались на немъ. Вы видите въ каждой строкѣ, какъ сознаніе невозможности не дать кое что борется съ опасеніемъ дать слишкомъ много. Отсюда эти постоянныя оговорки, ограниченія, эти вѣчныя «но»; отсюда наконецъ этотъ переходъ—какъ замѣчено выше—крѣпостной Россіи не въ свободную, а во временно обязанную. Историческая, неустанная работа цѣлаго столѣтія была передѣлана въ канцеляріяхъ нѣсколько своеобразно. Сравните Наказъ Императрицы Екатерины II и манифестъ 19-го февраля. Въ первомъ не говорится ничего объ освобожденіи крѣпостныхъ, только намекается на это, и все же Наказъ—это утопія какъ для 61-го года, такъ и для нашего времени. За вѣчными оговорками и «но», за сухими статьями, дающими и отнимающими въ одно и то же время, трудно разсмотрѣть желанія государей, еще труднѣе — страстныя мечты лучшихъ интеллигентовъ. Но это можетъ быть сдѣлано и когда нибудь будетъ сдѣлано во всей полнотѣ и яркости.

Кромѣ Павла Петровича, всѣ государи, начиная съ Екатерины, мечтали объ освобожденіи. Павелъ Петровичъ былъ совершенно доволенъ тѣмъ, что у него 100 тысячъ полицеймейстеровъ, съ неподдѣльными слезами восторга слѣдилъ за маршировкой солдатъ, переименовалъ всѣхъ сержантовъ въ унтеръ-офицеровъ, и, сдѣлавъ еще много такого же, умеръ. Тутъ очевидно было не до утопій. Александръ I вступилъ на престолъ съ самыми вольнолюбивыми мечтами вплоть до конституціи, съ самыми лучшими намѣреніями. Онъ обижался, когда ему говорили, что онъ долженъ быть самодержцемъ; сдѣлалъ Сперанскаго любимцемъ за то, что тотъ

переводилъ на русскій языкъ англійскую конституцію, и плакалъ, когда совершенно случайно узнавалъ объ ужасахъ крѣпостничества, о томъ, напримѣръ, что помѣщики имѣютъ право продавать семейныхъ крестьянъ въ раздробь. Онъ издалъ указъ о вольныхъ хлѣбопашцахъ, привѣтствовалъ освобожденіе лифляндскихъ крѣпостныхъ и тосковалъ всю жизнь при видѣ окружавашаго его рабства. Николай Павловичъ умирая передалъ дѣло освобожденія своему наслѣднику. Сколько могъ, онъ готовилъ его постоянно, но страхъ за основы парализовалъ всѣ его усилія. Александръ II издалъ манифестъ 19-го февраля.

Возьмите теперь нашихъ баръ, вельможъ, министровъ. Въ сущности лучшіе изъ нихъ были противъ крѣпостничества со времени того же царствованія Екатерины. Въ тѣ времена зачитывались французскими просвѣтителями, особенно Руссо, про котораго Наполеонъ сказалъ: «еслибы его не было, не было бы и революціи», — съ восторгомъ повторяли остроты Вольтера надъ привилегіями аристократіи и нѣсколько стыдились, что $\frac{9}{10}$ населенія русскаго государства обрѣтается въ подломъ холопскомъ состояніи. Извѣстно, что на знаменитомъ совѣтѣ, собранномъ Екатериной при первыхъ же слухахъ о пугачевскомъ бунтѣ, Григорій Орловъ, графъ и фаворитъ, объяснилъ волненія непомѣрными тягостями, возложенными на народъ, и требовалъ, чтобы эти тягости были облегчены въ значительной степени. На сторонѣ освобожденія были Панинъ, воспитатель наслѣдника, были и другіе, не менѣе знатные. Серьезно обсуждался вопросъ: нужно ли освободить холоповъ и какъ освободить ихъ. За лучшіе отвѣты назначались преміи. Особенно носились съ тою мыслью, что прежде чѣмъ освободить тѣла, надо освободить души, подъ чѣмъ понимали народное образованіе. Были и такіе, которые желѣли совершенно феерическій проектъ о перевоспитаніи всѣхъ гражданъ въ правительственныхъ учрежденіяхъ, «дабы сдѣлать ихъ благонравными и достойными свободы». Словомъ, идея жила, или, если можно выразиться, теплилась забытая послѣ второй турецкой войны, польскаго раздѣла, а главное, послѣ событийъ въ Парижѣ; она воскресла съ новою силою при Александрѣ Первомъ. Сперанскій любилъ ее, постоянно думалъ о ней—это несомнѣнно. Въ его знаменитомъ коренномъ проектѣ преобразованій освобожденіе крестьянъ выставляется не только какъ желательное, но и прямо необходимое. Надо припомнить, какую тревогу забила

старая партія, — къ которой, вѣстати сказать, причислялъ себя и Карамзинъ, послѣ того какъ сдѣлался государственнымъ исторіографомъ и надворнымъ совѣтникомъ, — послѣ утвержденія государственнаго совѣта, министерствъ и т. д. Въ своей знаменитой запискѣ, написанной въ 1811 году, Карамзинъ особенно цвѣтистымъ языкомъ защищаетъ самодержавіе и крѣпостное состояніе, давая даже понять, что незыблемость одного опирается на незыблемость другого. Государь остался въ высшей степени недоволенъ запиской, но, запуганный старой партіей, оставилъ Россію въ покоѣ, далъ конституцію Польшѣ и порадовался, когда прибалтійскіе дворяне освободили своихъ эстонскихъ и ливонскихъ холоповъ, забывъ при этомъ пустить ихъ чуть не по міру. При Николаѣ Павловичѣ одинъ тайный комитетъ засѣдалъ за другимъ, цѣлыхъ 10 лѣтъ разбирали проекты по устройству крестьянскаго состоянія и хотя не сдѣлали ничего, зато по крайней мѣрѣ закрѣпили въ высшихъ сферахъ сознаніе необходимости реформы. Изъ министровъ Канкринъ находилъ, что крѣпостное состояніе тормозитъ торговлю и промышленность, графъ Киселевъ предлагалъ вынести вопросъ на свѣтъ божій и вообще стоялъ за положительное его разрѣшеніе. Среди баръ, вельможъ и вообще высшей знати Александръ II нашелъ лучшихъ своихъ помощниковъ.

Что дѣлала интеллигенція — извѣстно. Уже у Радищева мы находимъ въ зародышѣ и отрицаніе прелестей нашего самобытнаго существованія, и преклоненіе передъ цивилизаціей Европы. Вмѣстѣ съ тѣмъ его знаменитая книга, погубившая автора, исполнена состраданіемъ къ народу, мечтами о грядущей свободѣ. Радищевъ какъ бы предугадывалъ и Чаадаева, и будущихъ западниковъ; Шешковскій былъ формально правъ, упрекая его за нелюбовь къ отечеству: «официальной» любви у Радищева на самомъ дѣлѣ не было.

При Александрѣ Первомъ интеллигентность и признаніе крѣпостничества законнымъ, необходимымъ, незыблемымъ — становились со дня на день все болѣе несовмѣстимыми. Это лучше всего проявилось въ движеніи декабристовъ, увлекшемъ весь цвѣтъ нашего немногочисленнаго европейски образованнаго класса. Декабристы думали не столько о политическихъ преобразованіяхъ, сколько объ общественно экономическихъ. Большинство ихъ люди молодые, богатые, знатные, выросшіе на революціи западной литературы, несомнѣнно честные, не принимали близко къ сердцу

вопроса о конституціи и формах правленія вообще. Но рабство мужика и рабство солдатъ, эти вѣчныя розги и палки, эта страшная Сибирь, куда люди ссылались по усмотрѣнію помѣщиковъ, иногда просто за то, что они стали стары, слѣпы, глухи и, слѣдовательно, ихъ пришлось бы кормить,—вотъ что тревожило молодыхъ и честныхъ души, вотъ что вдохновляло ихъ. Они погибли, какъ погибъ и Радищевъ, какъ погибаетъ всякій, кто на пятьдесятъ лѣтъ опередилъ свое время и не счелъ нужнымъ затанцовать это про себя. Въ ту же александровскую эпоху жилъ Пушкинъ. Крѣпостничество собственно интересовало его очень мало, но онъ все же написалъ свой «Анчаръ», все же спрашивалъ въ грустномъ раздумьи:

Увижу ли, друзья, народъ освобожденный
И рабство падшее по манію царя?
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
Взойдетъ ли наконецъ свободная заря?

Приходится миновать тридцатые года. Это годы романтическихъ мечтаній, душевныхъ грозъ, тоскливой неудовлетворенности, словомъ—годы Лермонтова, Печориныхъ, Чаадаевыхъ, или проклинавшихъ все, или одну Россію во имя величія Европы. На сценѣ дѣйствовали обреченные люди, искренне страдавшіе, искренне мучившіеся и гибнувшіе одинъ за другимъ въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей, какъ Лермонтовъ отъ пули, Полежаевъ отъ водки. Чацкіе были повсюду, они бросали въ лицо обществу, которое презирали, «стихъ, облитый горечью и злостью», но чувствовали, какъ бесполезно все, что они дѣлаютъ, какъ бессмысленна и бесполезна вся жизнь ихъ. Это—герои безвременья.

Но уже въ сороковыхъ годахъ мы находимъ идею созрѣвшую въполнѣ. Она какъ бы прошла черезъ огненное крещеніе романтическаго недовольства и лермонтовскихъ проклятій. Она выросла и окрѣпла подъ ферулой нѣмецкой идеалистической философіи Шеллинга и Гегеля и какъ бы «опредѣлилась» послѣ грозныхъ, но не всегда ясныхъ проклятій Лермонтова. Съ этой поры она знаетъ уже, чего хочетъ и ищетъ. Печорины исчезаютъ изъ жизни, но исчезаютъ не подъ ударами насмѣшки, а просто потому, что ихъ время прошло, что имъ нечего стало дѣлать. Ихъ можно помянуть добрымъ словомъ: они исполнили предназначенное имъ судьбой, хотя это исполненіе стоило имъ жизни. Люди сороковыхъ годовъ

смѣнили романтиковъ тридцатыхъ. На сценѣ, правда, фигурируетъ то же поколѣніе, но оно стало думать и чувствовать уже по другому. Бѣлинскій, самъ пережившій этотъ переворотъ, разсказалъ намъ о немъ въ своей статьѣ о «Героѣ нашего времени».

«Духъ его созрѣлъ для новыхъ чувствъ и думъ,—пишетъ онъ о Печоринѣ, подразумеывая въ этихъ словахъ свой вѣкъ и самого себя,—сердце требуетъ новой привязанности: дѣйствительность—вотъ сущность и характеръ всего этого новаго. Онъ готовъ для него».

Но что же это за дѣйствительность? Вѣдь не окружающая же жизнь, не крѣпостное право, не канцелярская служба. Все это было и раньше. Подъ дѣйствительностью Бѣлинскій понимаетъ здѣсь какую нибудь дорогую для сердца и полезную для жизни задачу, «святое дѣло», какъ выражались тогда. И оно нашлось, вѣрнѣе же возродилось. Это было опять то же освобожденіе крестьянъ, та же жажда облегчить жизнь обездоленному, и съ этой поры то и другое становится центромъ интеллигентной работы, и уже надолго—съ небольшимъ перерывомъ на цѣлыхъ двадцать лѣтъ. Интеллигентные кружки сразу, рѣзко—какъ это возможно только у насъ—мѣняютъ свою фizioномію. Шеллингъ забыть, Гегель попрежнему считается божествомъ, но это уже другой Гегель, и выводы, которые дѣлаются изъ него, совсѣмъ иные. Судьба какъ бы пожалѣла «бѣдную русскую мысль», метавшуюся изъ угла въ уголъ, готовую преклониться въ лицѣ Чаадаева передъ католицизмомъ, а въ лицѣ Кирѣевскаго падавшую ницъ передъ воротами Оптинской пустыни, и нашла для нея лѣкарства.

Вѣдь Печорины, какъ и всѣ романтики тридцатыхъ годовъ, ни за что не могли ясно и опредѣленно отвѣтить на вопросъ, что же собственно такъ тревожитъ ихъ, такъ мучаетъ. Они просто чувствуютъ, что жизнь ихъ съѣдена кѣмъ-то и сами они погибли ни за что, ни про что,

«Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодотворной,
Ни гениемъ начатаго труда»...

Они просто безпокойно метались. Они переживали то переходное состояніе духа, въ которомъ для человѣка все старое разрушено, а новаго еще нѣтъ, и въ которомъ для человѣка есть только возможность чего-то дѣйствительнаго въ будущемъ и совершенный призракъ въ настоящемъ. Тутъ возникаетъ въ немъ то, что на простомъ языкѣ называется и хандрой, и ипохондріей, и мнительностью,

и самомнѣніемъ, и другими словами, далеко не выражающими сущности явленія, и что на языкѣ философскомъ называется *рефлексіей*. Въ этомъ состояніи человѣкъ какъ бы распадается на два чело-
вѣка, изъ которыхъ одинъ живетъ, а другой наблюдаетъ за нимъ и судить о немъ. Тутъ нѣтъ полноты ни въ какомъ чувствѣ, ни въ какой мысли, ни въ какомъ дѣйствіи: какъ только зародится въ человѣкѣ какое нибудь чувство, намѣреніе, дѣйствіе, — тотчасъ какой-то скрытый въ немъ самъ врагъ уже подсматриваетъ зародышъ, анализируетъ его, изслѣдуетъ, вѣрна ли, истинна ли эта мысль, дѣйствительно ли чувство, законно ли намѣреніе и какая ихъ цѣль, — и благоуханный цвѣтъ чувства блекнетъ не распустившись, мысль дробится въ безконечномъ, какъ солнечный лучъ въ граненомъ хрусталѣ, рука, поднятая для дѣйствія, какъ окаменѣлая, останавливается на взмахѣ и не ударяетъ. Ужасное состояніе... Оно закончилось, какъ выше замѣчено, въ сороковыхъ годахъ съ переѣздомъ Бѣлинскаго въ Петербургъ, съ образованіемъ кружка Герцена, Грановскаго и другихъ, съ появленіемъ романовъ Жоржъ Занда. Идея, повторяю, опредѣлилась и, если можно такъ выразиться, «вочеловѣчилась». Отчего напр. такъ понравилась Жоржъ Зандъ? «А потому, отвѣчаетъ Бѣлинскій, что для нея не существуютъ ни аристократы, ни плебеи; для нея существуетъ только человѣкъ, и она находитъ человѣка во всѣхъ сословіяхъ, во всѣхъ слояхъ общества, любитъ его, сострадаетъ ему, гордится имъ и плачетъ за него»... Повѣяло любовью, человѣчностью, и съ отвлеченной высоты нѣмецкой идеалистической философіи русская передовая мысль прыгнула въ дѣйствительность.

Это былъ страшный прыжокъ, прыжокъ гиганта. Надо удивляться здоровью, силѣ, живучести тѣхъ, кто рискнулъ на него и уцѣлѣлъ. А рискнули и уцѣлѣли многіе: между ними на первомъ планѣ Бѣлинскій и Герценъ.

Измѣнилось все — настроеніе, взглядъ. Къ землѣ притянули самое искусство и постарались привязать къ ней крѣпкимъ узломъ. Когда-то знаменитый стихъ Пушкина, обращенный къ поэту:

Ты — царь, живи одинъ —

казался уже смѣшнымъ.

«Духъ нашего времени таковъ, — читаемъ мы въ статьѣ 43-го года, — что величайшая творческая сила можетъ только изумить на время, если она ограничивается «птичьимъ пѣніемъ», создаетъ себѣ

свой міръ, неимѣющей ничего общаго съ философскою и историческою дѣйствительностью современности, если она воображаетъ, что земля недостойна ея, что ея мѣсто на облакахъ, что мірскія страданія и надежды не должны смущать ея таинственныхъ сновидѣній и поэтическихъ созерцаній! *Свобода творчества легко согласуется съ служеніемъ современности*: для этого не нужно принуждать себя писать на темы, насилловать фантазію; для этого нужно только *быть гражданиномъ*, сыномъ своего отечества, своей эпохи, усвоить себѣ его интересы, слить свои стремленія съ его стремленіями; для этого нужна симпатія, любовь, здоровое практическое чувство истины, которое не отдѣляетъ убѣжденій отъ дѣла, сочиненія отъ жизни.

Такихъ мыслей не было въ тридцатые годы. Тогда они показались бы смѣшными, странными, ненужными. Печоринъ презрительно усмѣхнулся бы, слушая ихъ, хотя несомнѣнно только въ нихъ было его спасеніе: онѣ принесли бы неизмѣримо больше пользы его усталой надломленной душѣ, чѣмъ всѣ поѣздки въ Персію, чѣмъ всѣ романы съ Бѣлами, Мери и т. д.

Умственные интересы измѣнились не менѣе рѣзко. Оказалось уже недостаточнымъ знать Гегеля или Шеллинга или цитировать наизусть Фейербаха. На горизонтѣ впервые появляется поклоненіе естествознанію, и Герценъ пишетъ свои «Письма объ изученіи природы». Въ петербургскихъ журналахъ стали помѣщать статьи по вопросамъ политической экономіи, естественно-научныя обзорѣнія, новыя эстетическія теоріи и въ то же время впервые была разъяснена русской публикѣ позитивная философія Конта. Движеніе съ каждымъ годомъ проникало и въ даль, и въ глубь, но странно: несмотря на политико-экономическія и естественно-научныя формулы, въ которыя оно облеклось, источникомъ его было сердце. Что называется не осушивъ пера, Герценъ послѣ «Писемъ» принимается за «Сороку-Воровку» — этотъ рѣзкій памфлетъ противъ крѣпостничества; вскорѣ затѣмъ появляются первые очерки «Записокъ Охотника» Тургенева, удивительно подходившая къ духу времени повѣсть Григоровича «Антонъ-Горемыка». Съ этой минуты на знамени русской мысли красуется крупно и отчетливо написанное слово «народничество».

Проповѣдь шла все сильнѣе... все одна проповѣдь, — и смѣхъ, и плачь, и книга, и рѣчь, и Гоголь, и исторія — все звало людей къ сознанію своего положенія, къ ужасу передъ крѣпостнымъ правомъ; все указывало на науку и образованіе, на очищеніе мысли отъ всего традиціоннаго хлама, на свободу совѣсти и разума... и,

повторяю, источникомъ всего этого было проснувшееся сердце. Люди тосковали, рвались на просторъ; но они уже знали теперь, почему они тоскуютъ и чего хотятъ:

«Я не могъ дышать однимъ воздухомъ, оставаться рядомъ съ тѣмъ, что я возненавидѣлъ... Мнѣ необходимо нужно было удалиться отъ моего врага, затѣмъ, чтобы изъ самой моей дали сильнѣе напасть на него. Въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ извѣстное имя; врагъ этотъ былъ—крѣпостничество».

Такъ рассказываетъ о томъ періодѣ своей жизни Тургеневъ. Въ то же время въ кружкѣ петрашевцевъ нервно и возбужденно читалъ Достоевскій свою «Неточку Незванову» и страстно декламировалъ:

«Увижу ли, друзья, народъ освобожденный
И рабство падшее по манію царя?...»

Причинъ такой рѣзкой, разительной перемены я пока объяснять не буду. Мнѣ важно лишь указать на переломъ и напомнить читателю, съ какой смѣлостью мысль его дѣдовъ отъ тоски и отчаянія тридцатыхъ годовъ перешла къ любви и вѣрѣ.

Живой источникъ былъ найденъ, дверь въ лучшее будущее чуть пріотворилась, и люди вздохнули свободнѣе.

Послѣ 48-го года, подъ вліяніемъ чисто вѣшняго давленія, движеніе прерывается. Часть его виѣстъ съ Герценомъ уходитъ за границу, другая въ лицѣ петрашевцевъ идетъ въ Сибирь искупать свои «грѣхи», Бѣлинскій умираетъ. Но мрачное семилѣтіе 1848—1855 не можетъ забить и заглушить всего. Это только отсрочка, болѣзненный, тяжелый кризисъ, послѣ котораго освобожденіе крестьянъ становится совершившимся фактомъ.

* * *

Было, значить, о чемъ вспомнить, было чему порадоваться. Въѣдъ въ сущности со времени Петра Великаго и его знаменитаго указа о рекрутской повинности, закабалившаго всю Россію вплоть до 19-го февраля, живетъ и развивается одна грандіозная историческая эпоха нарастанія и уплотненія государственнаго начала. Это нарастаніе происходило роковымъ, стихійнымъ образомъ, и каждый годъ приносилъ свой камень, чтобы возвысить громадное зданіе.

Государственность *въ старомъ смыслѣ* слова и полное обезличеніе идутъ всегда рука объ руку. Это два тождественныя явленія, изъ которыхъ одно порождаетъ другое, образуя въ концѣ концовъ переплеть взаимно дѣйствующихъ силъ. Старая государственность не признавала за человѣкомъ ни права любить, ни права думать, ни права говорить, ни даже права выбирать себѣ занятіе. Онъ долженъ былъ отдать себя всего, безъ остатка, въ службу. Его жизнь была предопредѣлена заранѣе, она вся проходила по чужой волѣ. Лучшій примѣръ такого полного поглощенія человѣка—это военная служба при Николаѣ Павловичѣ, продолжавшаяся цѣлыхъ 25 лѣтъ, иногда больше. Спрашивается, что же оставалось человѣку самому, когда могъ онъ пожить для себя, поѣсть не изъ казеннаго котла, лечь и встать не по барабану, повернуться въ ту сторону, въ которую хочеть, завестись своей семьей? Ничего и никогда. У насъ—кратковременная повинность, въ то время—поглощеніе человѣка.

Прежняя государственность была безжалостна. Она, какъ Кальвинъ, объявляла, что для нея не существуетъ людей, а только поступки. Въ Женевѣ ребенокъ, провинившійся въ богохульствѣ, подвергался суровому наказанію. У насъ дореформенная государственность объявила Чаадаева сумасшедшимъ за то, что онъ думалъ иначе, чѣмъ слѣдуетъ, ввела безконечно долгую военную службу, регулировала частную жизнь человѣка, и горе тому, кто отступалъ отъ правила: наказаніе постигало его немедленно, несмотря ни на что. Государственность была вездѣ, въ канцеляріяхъ и департаментахъ, въ казармахъ и семьяхъ. Отъ крестьянина она требовала только труда (во имя чего, встати замѣтить, многіе помѣщики брали на себя сами руководство половымъ подборомъ), отъ солдата—только службы, отъ чиновника—только исполнительности, отъ дѣтей—только повиновенія.

19-ое февраля нанесло страшный ударъ этой строгой, суровой системѣ. Манифестъ говорилъ, что человѣкъ можетъ жить и для себя. Онъ давалъ крестьянину свое поле, свой трудъ, возможность устраивать лично самому свое благосостояніе. Онъ разрѣшалъ ему любить по своему, жаловаться отъ себя, заниматься, чѣмъ хочеть. Онъ давалъ ему самоуправленіе. Начались другія реформы—судебныя, административныя, военныя. Общество дружно подхватило ихъ и само ввело реформу въ семьѣ. Дѣти заявили, что они хотять жить по своему и для себя. Родителямъ пришлось согласиться.

Все это дѣлалось во имя личной свободы человѣка. Это было осуществленіемъ одной части интеллигентныхъ мечтаній. Манифестъ пошелъ дальше: онъ не только освободилъ крестьянъ, онъ освободилъ ихъ съ землею.

Говоря объ этомъ, Достоевскій впадаетъ въ лиризмъ. Онъ считаетъ освобожденіе крестьянъ съ землею великимъ фактомъ 19-го вѣка и началомъ новой эры. Не увлекаясь до такой степени, можно однако сказать, что здѣсь мы видимъ выраженіе всего положительнаго, реальнаго теченія русской мысли, — теченія, создавшаго 60-ые годы и обострившагося въ нихъ.

Я уже говорилъ, что сороковые годы необходимо разсматривать какъ періодъ перелома въ интеллигентномъ міросозерцаніи. Здѣсь отрѣшились отъ романтизма и отъ метафизическихъ воззрѣній, здѣсь перешли къ изученію политической экономіи и естественныхъ наукъ, здѣсь рѣзко измѣнилось самое понятіе о свободѣ. Прежде подъ вліяніемъ Шиллера, Гегеля ее понимали главнымъ образомъ какъ свободу мысли, свободу сознанія. «Свобода внутри васъ» — это говорилось, доказывалось, возводилось въ догматъ. Разъ ты освободилъ себя въ мысли, — ты свободенъ и больше тебѣ желать нечего. Фраза Гегеля: «имѣть сто гульденовъ — и думать, что ты ихъ имѣешь, — то же самое» — не возбуждала ни насмѣшекъ, ни недоумѣвающаго пожиманія плечами. Это былъ одинъ изъ догматовъ зарвавшейся философской мысли, совершенно отрѣшенной отъ дѣйствительности. И вдругъ сенъ-симонизмъ, романы Жоржъ Занда, политическая экономія и естественныя науки. Люди мучительно задумались надъ тѣмъ, что же такое свобода, которой они такъ страстно желали. Оказалось, что имѣть и думать не то же самое; что свобода сама по себѣ звукъ пустой; что, находясь внутри человѣка какъ самосознаніе, она должна опираться на что нибудь внѣшнее; что нѣтъ права безъ возможности пользоваться имъ; нѣтъ свободы безъ возможности реализовать ее.

Это отчетливо доказалъ 48-й годъ. Конституціи, которыя лепѣлись такъ долго, которыя встрѣчались съ такими рукоплесканіями, летѣли въ пропасть одна за другой, сопровождаемыя свистомъ, шиканьемъ, проклятіями. А какъ хорошо расписаны были въ нихъ права человѣка, какія великолѣпныя гарантіи придуманы были для нихъ юристами, какъ красиво звучали параграфы о свободныхъ республикахъ, всеобщей подачѣ голосовъ, обязанностяхъ

правительствъ радѣть прежде всего объ общемъ благѣ, благѣ народовъ и подданныхъ. И вдругъ все рухнуло. Оказалось, что все это былъ одинъ лишь миражъ, декорация, которая исчезла немедленно, какъ только жизнь вступила въ свои права. Правами и свободой воспользовались только тѣ, кто имѣлъ эту возможность, а немущіе? Тѣ попрежнему владели существованіемъ, не понимая, почему конституціи такъ пышно распространяются о томъ, что они полнопреданны?

Итакъ свобода не только въ правахъ, въ хартіяхъ, сознаніи. Ей нужна опора. Нашъ вѣкъ ясно говоритъ, какая опора нужна ей. Это собственность.

Манифестъ 19-го февраля разрѣшилъ и этотъ вопросъ, и разрѣшилъ его въ смыслѣ положительной философіи и реального мышленія. Онъ надѣлилъ свободнаго крестьянина землей. И это было на самомъ дѣлѣ великимъ завоеваніемъ жизни, быть можетъ и правда, что это начало новой исторической эры.

Не всѣ поняли указанную сторону манифеста. Но тѣ, кто понялъ, привѣтствовали ее, потому что это было отчасти и ихъ дѣломъ. Они работали надъ разрушеніемъ романтизма и идеализма, они всю жизнь проповѣдывали положительную философію, естествознаніе, политическую экономію, реализмъ.

На первомъ планѣ среди этихъ дѣятелей стоитъ А. Герценъ. Главная заслуга въ переломѣ интеллигентной мысли сороковыхъ годовъ принадлежитъ ему.

I.

Дѣтство, отрочество, юность.

Александръ Ивановичъ Герценъ родился въ Москвѣ 25-го марта 1812 года, за нѣсколько мѣсяцевъ до нашествия Наполеона. Онъ былъ вѣнчанымъ сыномъ родовитаго русскаго барича Ивана Алексѣевича Яковлева и молодой нѣмки Луизы Ивановны Гаагъ, которую послѣдній увезъ изъ Штутгарта. Болѣе странную обстановку, чѣмъ та, которая окружала Герцена въ дѣтскіе годы, трудно себѣ и представить. И старое барство, и русское самодурство, и нѣмецкая кротость, и безалаберность крѣпостничества, и европейскія замашки—соединились всѣ вмѣстѣ возлѣ его колыбели сначала, его комнатки потомъ, чтобы создать одинъ изъ самыхъ разностороннихъ умовъ, которые только знаетъ наше прошлое.

Его отецъ, Иванъ Алексѣевичъ, вернувшись въ Москву изъ-за границы, гдѣ онъ, скучая и зѣвая, провелъ цѣлый годъ, нанялъ вмѣстѣ съ братомъ своимъ, сенаторомъ Львомъ Алексѣевичемъ, большой домъ на Тверскомъ бульварѣ. Рѣшено было устроиться на заграничный манеръ—просто и недорого; но, какъ бы въ насмѣшку надъ собственнымъ проектомъ, братья немедленно завели цѣлый батальонъ дворовой прислуги, ѣвшей, пившей и скучавшей безъ всякой работы, пока какой-то изобрѣтательный фореиторъ Филатка не задумалъ устраивать гдѣ-то на задворкахъ пѣтушиныхъ боевъ. Цѣль жизни для дворни нашлась. Господамъ отыскать ее оказалось гораздо труднѣе, совершенно невозможно даже. Къ счастью средства были громадныя, крестьяне аккуратно вносили оброкъ, и хотя старосты воровали неменѣе аккуратно,—все же оставалось слишкомъ даже достаточно. Поэтому братья имѣли полную возможность устроиться каждый по своему.

Старшій—Левъ Алексѣвичъ, дядя Герцена, былъ по характеру человѣкъ добрый, любившій разсѣяніе. Онъ провелъ всю жизнь въ мірѣ, освѣщенномъ лампами, — мірѣ официально дипломатическомъ и придворно-служебномъ, не догадываясь, что есть другой міръ, посерьезнѣе, несмотря даже на то, что всѣ событія 1789—1815 годовъ не только прошли подлѣ, но и зацѣпляясь за него. Графъ Воронцовъ посылалъ его къ лорду Гренвиллю, чтобы узнать о томъ, что предпринимаетъ генералъ Бонапартъ, оставившій египетскую армію. Онъ былъ въ Парижѣ во время коронаванія Наполеона... Словомъ, онъ былъ на лицо при всѣхъ огромныхъ происшествіяхъ послѣдняго времени, но какъ то странно: не такъ, какъ слѣдуетъ. Возвратившись въ Россію, онъ былъ произведенъ въ дѣйствительные камергеры въ Москвѣ, гдѣ не было двора; не зная законовъ и русскаго судопроизводства, — онъ попалъ въ Сенатъ и сдѣланъ членомъ опекунскаго совѣта; всѣ должности исполнялъ съ рвеніемъ, которое только вредило, — и съ честностью, которую никто не замѣчалъ. Но онъ былъ неунывающий человѣкъ, вѣчно въ хлопотахъ и разбѣздахъ. Застать его дома было совершенно невозможно. Онъ заѣзжалъ къ себѣ лишь для того, чтобы переодѣться, справиться о здоровьѣ племянника «Шушки», перемѣнить лошадей и опять мчаться куда нибудь по самому неотложному дѣлу. Утромъ онъ ѣхалъ въ сенатъ, два раза въ недѣлю на засѣданіе въ совѣтъ, столько же въ больницу, въ институтъ. Вечеромъ навѣщалъ тетку-княжну или сестеръ, или являлся на французскій спектакль, часто въ срединѣ пьесы, и уѣзжалъ, не дождавшись конца... Скучать ему было некогда: онъ всегда былъ занятъ, разсѣянъ; онъ все ѣхалъ куда-нибудь, и жизнь его катилась легко; до 75-ти лѣтъ онъ былъ здоровъ, какъ молодой человѣкъ, являлся на всѣхъ большихъ балахъ и обѣдахъ, на всѣхъ торжественныхъ собраніяхъ и годовыхъ актахъ, — все равно какихъ: агрономическихъ, медицинскихъ, страхового отъ огня общества, естествоиспытателей, археологовъ, — словомъ, куда угодно. Добродушная улыбка не сходила съ его лица, оживленная рѣчь не прекращалась ни на минуту: онъ постоянно разсказывалъ новости. Племянника баловалъ страшно.

Таковъ дядя—богатый, знатный, пустой, но милѣйшій и добрѣйшій человѣкъ, кость отъ кости и плоть отъ плоти когда-то веселой, добродушной, богатой Москвы. Не то былъ отецъ—Иванъ Алексѣвичъ.

«Нелзя, рассказывает о немъ самъ Герцень, представить больше противоположнаго вѣчно движущемуся сангвиническому сенатору, какъ его брата. Иванъ Алексѣевичъ, вѣчно капризный, почти никогда не выходилъ со двора и ненавидѣлъ весь офиціальный міръ. У него было тоже восемь лошадей (прескверныхъ), но его конюшня была вродѣ богоугоднаго заведенія для влячъ. Онъ держалъ ихъ отчасти для того, чтобы два кучера и два форейтора имѣли какое нибудь занятіе, сверхъ хожденія за «Московскими Вѣдомостями» и пѣтушиныхъ боевъ.

«Иванъ Алексѣевичъ рѣдко бывалъ въ хорошемъ расположеніи духа и постоянно былъ всѣмъ недоволенъ; человѣкъ большого ума, большой наблюдательности, онъ бездну видѣлъ, слышалъ, помнилъ; свѣтскій человѣкъ, *assompli*, онъ могъ быть чрезвычайно любезенъ и занимателенъ, но онъ не хотѣлъ этого, и все болѣе и болѣе впадалъ въ капризное отчужденіе отъ всѣхъ. Откуда происходила злая насмѣшка и раздраженіе, наполнявшія его душу; недовѣрчивое удаленіе отъ людей и досада, снѣдавшая его? Развѣ онъ унесъ въ могилу какое нибудь воспоминаніе, которое никому не донѣрило, или это было просто слѣдствіе встрѣчи двухъ культуръ, до того противоположныхъ, какъ восемнадцатый вѣкъ и русская жизнь, при посредствѣ третьей, ужасно способствующей развитію праздности. Простое столѣтіе произвело удивительный крижъ людей на Западѣ, особенно во Франціи, со всѣми слабостями регентства, со всѣми силами Спарты и Рима. Эти Фоблазы и Регулы вмѣстѣ отворили настежъ двери революціи и первые ринулись въ нее, поспѣшно толкая друг друга, чтобы выйти въ окно гильотины. Нашъ вѣкъ не производилъ больше этихъ цѣльныхъ, сильныхъ натуръ; прошлое столѣтіе, напротивъ, вызывало ихъ вездѣ, даже тамъ, гдѣ онѣ не были нужны, гдѣ онѣ не могли иначе развиваться, какъ въ уродство. Въ Россіи люди, подвергнувшіеся вліянію этого мощнаго западнаго вѣянія, не вышли историческими людьми, а людьми оригинальными. Иностранцы—въ чужихъ краяхъ, праздные зрители, испорченные для Россіи западными предразсудками, для запада—русскими привычками, они представляли какую-то умную ненужность и потерялись въ искусственной жизни, въ чувственныхъ наслажденіяхъ и въ нестерпимомъ эгоизмѣ.»

Всѣ *esprits forts*, волокиты съ сѣдыми волосами, неудачники родовой знати, ворчавшіе постоянно на быстрые успѣхи по службѣ выходцевъ вродѣ Сперанскаго или Аракчеева и находившіеся въ оппозиціи, которая такъ-же была нужна имъ, какъ обѣдъ въ Англійскомъ клубѣ, принадлежали къ этому кругу «московскихъ законодателей», — какъ ихъ называли тогда. Въ нихъ сильно было еще воспоминаніе екатерининскаго времени съ его безумною роскошью, фейерверками изъ государственныхъ ассигнацій, величавыми одами Державина, торжественнымъ настроеніемъ жизни, и они были не-

довольны тѣмъ, что все вокругъ нихъ становится уже, расчелтливѣе, прижимистѣе, что мѣсто вельможи занялъ чиновникъ, покорный, исполнительный, вообще — человекъ «себѣ на умѣ». «Нѣтъ, прежняго не вернешь, говорили они, то ли въ наше время». Для развлеченія устраивали они клубныя революціи: сначала чествовали Багратіона, звалъ, что онъ не угоденъ при дворѣ, потомъ бранили Сперанскаго, отворачивались отъ Аракчеева.

Среди нихъ Иванъ Алексѣевичъ пользовался большимъ вѣсомъ. Родовитость его была несомнѣнна. Онъ велъ свое происхожденіе отъ выходца изъ Пруссіи, короля Вейдевута; состояніе его, несмотря на безалабернѣйшее въ мірѣ управленіе помѣстьями, считалось сотнями тысячъ; свою оппозицію всему официальному, пришлому онъ выказывалъ постоянно. Въ юности онъ служилъ въ Измайловскомъ полку, дослужился до капитана, бросилъ службу при восшествіи на престолъ Павла Петровича, опасаясь вѣроятно неожиданной поѣздки въ Сибирь, нѣсколько лѣтъ разъѣзжалъ по Европѣ изъ одного города въ другой, скучая и зѣвая, и наконецъ возвратился въ Россію, чтобы скучать и зѣвать, но уже на одномъ мѣстѣ и уже на всю жизнь. На самомъ дѣлѣ это былъ странный человекъ.

Людей онъ презиралъ откровенно, открыто, всѣхъ. Ни въ какомъ случаѣ не рассчитывалъ ни на кого и ни къ кому не обращался съ значительной просьбой, — онъ и самъ ни для кого ничего не дѣлалъ. Въ сношеніяхъ съ посторонними требовалъ одного — сохраненія приличій; *les apparences, les convenances* составляли его нравственную религію. Онъ многое прощалъ или, лучше сказать, пропускалъ сквозь пальцы, но нарушеніе формъ и приличій выводило его изъ себя: тутъ онъ становился безъ всякой терпимости, безъ малѣйшаго снисхожденія и состраданія. Онъ впередъ былъ увѣренъ, что всякій человекъ способенъ на все дурное, и если не дѣлаетъ, то или не имѣетъ нужды, или случай не подходитъ. Въ нарушеніи же формъ онъ видѣлъ личную обиду, неуваженіе къ нему или мѣщанское воспитаніе, которое по его мнѣнію отлучало человека отъ всякаго людскаго общества. «Въ жизни, говорилъ онъ, всего важнѣе *l'esprit de conduite*, важнѣе превыспренняго ума и всякаго ученія. Вездѣ умѣть найтиса, нигдѣ не соваться впередъ, со всѣми чрезвычайная вѣжливость и ни съ кѣмъ фамиллярности». Онъ не любилъ никакой откровенности и называлъ ее не иначе какъ *ami-coschoi* 'ствомъ, всякое чувство казалось ему санти-

ментальностью, и онъ постоянно представлялъ изъ себя человѣка, стоявшаго выше всѣхъ этихъ мелочей...

Не особенно крѣпкаго здоровья, не могшій поэтому ни кутить, ни распутничать, Иванъ Алексѣевичъ вдался въ другую крайность: онъ счелъ, или притворился, что счелъ себя безнадежно больнымъ. Его любимымъ чтеніемъ были медицинскія книги, по крайней мѣрѣ раскрытый лѣчебникъ всегда лежалъ на его письменномъ столѣ. Онъ безпрестанно лѣчился. Кромѣ домашнего доктора, къ нему ѣздили два или три медика, и онъ дѣлалъ по крайней мѣрѣ три консилиума въ годъ.

Это лѣченіе забавляло и развлекало его. Кромѣ того онъ съ наслажденіемъ пользовался всѣми привилегіями безнадежно больного человѣка: принималъ гостей въ халатѣ на бѣлыхъ мерлушкахъ, говорилъ всѣмъ дерзости, выводилъ изъ терпѣнія даже своего добродушнѣйшаго изъ смертныхъ брата сенатора, никогда не отвѣчалъ на визиты и дѣлалъ непріятности всѣмъ и каждому. Холодная безпощадная иронія, иронія человѣка, инстинктивно чувствующаго, что его жизнь прошла ни къ чему, — въ особенности отличала его. Взгляните на его лицо. Оно если не красиво, то родовито и внушительно. Длинный носъ, круглые на-выкатъ глаза съ мутнымъ, холоднымъ выраженіемъ, которые какъ бы дали зарокъ *nil admirari* — никогда и ни чему не удивляться — и, что бы ни случилось, смотрѣть на все своимъ мутнымъ, холоднымъ, затаенно-насмѣшливымъ взглядомъ; тонкія губы, никогда не улыбавшіяся, общее ледяное выраженіе, говорящее о непомѣрномъ самолюбіи, о самомъ настоящемъ эгоизмѣ, — таковъ Иванъ Алексѣевичъ на своемъ портретѣ. Къ чему иронія, надъ чѣмъ смѣяться? — онъ не спрашивалъ себя объ этомъ. Въ своей замкнутости ему пріятно и удобно, какъ раковинѣ въ скорлупѣ. Это броня, защита отъ жизни, которая очевидно чѣмъ то обидѣла его, чего то не дала ему, и онъ, капризный, избалованный баринъ, ушелъ въ себя, забросилъ куда то влючъ отъ своего сердца и знать ничего не хотѣлъ, кромѣ своихъ конвенансовъ и аппарансовъ. Онъ любилъ одного только сына своего «Шушкѣ» — маленькаго Герцена, и терпѣть не могъ другого, также виѣбрачнаго — Егора Ивановича. Что опредѣляло его любовь и антипатію — сказать трудно, но чувство было искреннее, не безъ доли самоотреченія, какъ увидимъ ниже, и тѣмъ болѣе странное, что возлюбленный сынъ достался ему совершенно неожиданно.

Но какъ бы то ни было, Иванъ Алексѣевичъ сразу и навсегда привязался къ ребенку. Когда его спросили, какую дать фамилію новорожденному, онъ сказалъ «Неггенъ» — «сынъ любви». Онъ звалъ его не иначе какъ «Шушка» вплоть до того времени, пока у Герцена не появился свой собственный маленькій Шушка.

Оберегая ребенка отъ простуды, онъ не выпускалъ его изъ комнаты цѣлую зиму, а если позволялъ прокатиться, то сверхъ шубы и теплой шали закутывалъ платками и шарфами. Предостерегая отъ расстройства желудка, держалъ на строгой діетѣ. При малѣйшемъ насморкѣ или кашлѣ поднимались такія хлопоты и тревоги, что, глядя на нихъ, ребенокъ воображалъ себя сильно больнымъ и принимался блажить до того, что всѣхъ выводилъ изъ терпѣнія. Сейчасъ являлся докторъ, прописывалъ лѣкарства, которыя давалъ ему по часамъ и непремѣнно съ точностью до одной секунды самъ Иванъ Алексѣевичъ. Если «Шушка», закутанный въ мѣха, одѣяла и шарфы и лежа притомъ въ страшно натопленной комнатѣ, принимался колобродить и метаться, Иванъ Алексѣевичъ садился подлѣ него и старался его развлечь, давая ему ломать дорогія игрушки, — что, встати сказать, Герценъ въ здоровомъ состояніи духа очень любилъ дѣлать, — а если это не помогало, бралъ его на руки и ходилъ съ нимъ по комнатѣ, пока ребенокъ не успокаивался. Замѣчательно между прочимъ, что чѣмъ больше беспокоилъ его сынъ, чѣмъ больше онъ капризничалъ, тѣмъ это больше нравилось Ивану Алексѣевичу: въ неудержимыхъ капризахъ Шушки онъ какъ бы любовался собственной своей природой.

Кромѣ отца, ребенка баловали всѣ окружающіе безъ исключенія. Заѣзжая разъ пять въ день домой, чтобы рассказать послѣднюю новость, сенаторъ непремѣнно привозилъ какую нибудь дорогую игрушку и, полюбовавшись на то, какъ Шушка, обуреваемый жаждой изслѣдованія, немедленно же приводилъ ее въ груду обломковъ, — опять исчезалъ на неизбежное засѣданіе. Его камердинеръ Бало, настоящій типъ стараго слуги, отказавшійся даже отъ любимой дѣвушки, когда узналъ, что баринъ женатаго держать при себѣ не будетъ, — ухаживалъ за ребенкомъ, какъ преданная нянька, и тѣшилъ его, напрягая при этомъ всю свою изобрѣтательность. Шушка цѣлые дни проводилъ въ его комнатѣ, куда скрывался отъ глазъ отца или отъ излишняго ухаживанія своихъ настоящихъ нянюшекъ, двухъ добрѣйшихъ старухъ, вѣчно вязавшихъ чулки, вѣчно вор-

чавшихъ,—докучалъ ему, шалилъ; Кало выносилъ все, вырѣзывалъ своему любимцу разные чудеса изъ картонной бумаги или вытачивалъ изъ дерева забавныя бездѣлушки. По вечерамъ приносилъ изъ библіотеки книги съ картинками и терпѣливо показывалъ ихъ. Шушка любовался на всё, а особенно *понравившіяся* немедленно вырывалъ и, сконжавши, бросалъ на полъ.

Луиза Ивановна, мать, нѣжила сына меньше другихъ, но не переставала кричать, шумѣть и шалить цѣлые дни. Главные свои подвиги онъ и производилъ именно на ея половинѣ, потому что отца все же побаивался. Онъ былъ такъ живъ и рѣзвъ, что пять минутъ не могъ оставаться на одномъ мѣстѣ безъ шума. Колотилъ, стучалъ, ломалъ—только трещали дорогія игрушки. По цѣлымъ часамъ барабанилъ въ барабанъ, расхаживая вокругъ комнатъ и не обращая ни на кого ни малѣйшаго вниманія. Иногда онъ становился у притолоки двери и начиналъ прыгать черезъ порогъ съ одной стороны на другую и пѣлъ на всю комнату краковякъ. Для этой операціи почему то надѣвалъ всегда халатикъ изъ мерлушекъ и подпоясывался зеленымъ шелковымъ поясомъ отца съ серебряной пряжкой. Разъ онъ такъ надоѣлъ матери шумомъ и трескотней, что она стала строго останавливать его. Это было такъ неожиданно, что ребенокъ, пристально посмотрѣвши на нее, вскрикнулъ: «Прощайте, умираю!» бросился на полъ, сложилъ руки крестомъ, закрылъ глаза и долго оставался неподвижнымъ, какъ ни уговаривали его подняться. «Я умеръ», повторялъ онъ и отчаянно дрыгалъ ногами при малѣйшемъ прикосновеніи. Къ этому средству онъ сталъ прибѣгать при всякомъ замѣчаніи, и не подозрѣвая, какой жестокой афронтъ готовить ему судьба. Однажды, когда онъ, заявивши о своей смерти, растянулся на полу, Луиза Ивановна закричала: «подите сюда кто нибудь! Саша умеръ; вынесите его и похороните»... Ребенокъ въ одно мгновеніе вскочилъ на ноги: «Какъ, меня хоронить? Нѣтъ! Я умеръ, но пойду». Съ этими словами онъ исчезъ въ сосѣдней комнатѣ и больше умирать не собирался.

Стоило только не попадаться на глаза отцу, который не могъ утерпѣть, чтобы при каждой встрѣчѣ не прочитать нотации, и ребенокъ былъ совершенно свободенъ. Онъ носился по всему дому, былъ своимъ человѣкомъ въ дѣвичьей, въ комнатѣ Кало, на половинѣ матери. Возможность дѣлать все, что угодно, не стѣсняясь, рано внушила ему мысль, что онъ центръ мірозданія.

Онъ росъ одинъ, не зная товарищества. Иногда впрочемъ къ нему привозили его родственницу Татьяну Петровну Пассекъ, тогда маленькую дѣвочку, и они вскорѣ стали друзьями, на томъ, разумѣется, условивъ, чтобы меньшій другъ, т. е. Шушка, могъ командовать и распоряжаться по усмотрѣнію. Но это постоянное одиночество не развило въ немъ ни меланхоліи, ни созерцательности. Не «тихій нравъ достался ему въ наслѣдство», а гордая, упрямая энергія, безмѣрное себялюбіе, живой подвижный характеръ, не выносившій ничего однообразнаго, даже въ привязанностяхъ.

Родственники Ивана Алексѣевича, кромѣ сенатора, видя безмѣрную избалованность Шушки, предрекали, что въ немъ не будетъ пути, а основываясь на его тщедушности, ожидали, что чахотка скоро унесетъ его на тотъ свѣтъ, что по чисто наслѣдственнымъ соображеніямъ было для нихъ желательно.

Дѣйствительно, Герценъ въ дѣтствѣ былъ ребенокъ худой, блѣдный, съ рѣдкими, длинными блондуриными волосами, съ большими темно сѣрыми глазами, въ которыхъ порой блестѣла искра веселости и рано засвѣтился умъ. Несмотря на свою чрезмерную живость, онъ рѣдко улыбался; шалилъ и шумѣлъ и даже ломалъ игрушки совершенно серьезно, какъ бы дѣлая дѣло. Часто, бросивши игрушки, онъ останавливалъ взглядъ на одномъ предметѣ и точно вдумывался во что-то. Чувствуя нерасположеніе къ себѣ родныхъ со стороны своего отца, несмотря на ихъ наружное вниманіе, онъ и самъ ихъ не любилъ и старался избѣгать ихъ присутствія. Родные между прочимъ не могли простить Ивану Алексѣевичу, что онъ держитъ при себѣ незаконнаго сына и «нѣмку», но сказать это въ глаза, разумѣется, не смѣли. Они знали, какимъ холоднымъ взглядомъ обладалъ бы ихъ при этомъ старый мизантропъ и какъ сказалъ бы онъ своимъ ровнымъ безъ повышеній и пониженій голосомъ: «ахъ, матушка (или батюшка), если тебѣ не нравится, какъ я живу, то кто же просить тебя бывать у меня?»... Еслибы ему слишкомъ сильно надобѣдали, старикъ былъ бы способенъ, пожалуй, нарушивъ всѣ конвенансы и аппарасы, повѣнчаться съ Луизой Ивановной, — шагъ, отъ котораго онъ удерживался всю жизнь изъ за какого-то барскаго упрямства. Быть можетъ даже ему просто нравилась эта открытая незаконная связь въ пику и на зло всѣмъ...

Въ Герценѣ рано появилась та особенная складка ума, которой въ послѣдствіи онъ былъ обязанъ значительной долей своей литера-

турной извѣстности. Въ воспоминаніяхъ Пассекъ находимъ любопытную въ этомъ отношеніи страницу.

«Разъ,—говоритъ она,—когда Сашѣ было лѣтъ одиннадцать или двѣнадцать, собралось у Ивана Алексѣевича человѣкъ десять почетныхъ посѣтителей, въ томъ числѣ былъ и сенаторъ; всѣ они ушли въ залѣ около круглаго стола, за которымъ Луиза Ивановна разливала чай; мы съ Сашей помѣстились въ этой же комнатѣ за особымъ небольшимъ столомъ и, разложивши на немъ огромную книгу въ богатомъ переплетѣ, съ дворянскими гербами и родословными, стали ее разсматривать. Кто то изъ посѣтителей, обратясь къ намъ, спросилъ, какая это у насъ книга. Саша, не задумавшись, отвѣтилъ: «Зоологія». Я засмѣялась, нѣкоторые изъ гостей, изъ угожденія Ивану Алексѣевичу, одобрительно улыбнулись его остроці; но Иванъ Алексѣевичъ не улыбнулся, а, когда гости развѣхались, задалъ намъ такую гонку, что мы долго не забывали «Зоологію». Меня распекъ, зачѣмъ поощряю Шушку къ дерзостямъ, забавляясь его неумѣстными островами, а его—какъ смѣлъ непочтительно выразиться о русскомъ дворянствѣ, служившемъ отечеству, и заключилъ свою нотацию, обращаясь уже къ одному Сашѣ, словами:

— Ты не думай, любезный, чтобы я высоко ставилъ превысprenній умъ и остроуміе; не воображай, что очень утѣшилъ меня, если мнѣ скажутъ вдругъ: «Вашъ Шушка сочинилъ «Чортъ въ телѣжкѣ», я на это отвѣчу: «скажите Вѣрѣ, чтобы вымыла его въ корытѣ».

Мы покатились со смѣха.

Старикъ сдѣлалъ видъ, что не замѣтилъ этого, подошелъ къ круглому столу, подъ которымъ спокойно лежалъ Макбетъ, крикнулъ человѣка и велѣлъ ему вывести собаку на дворъ. Потомъ, обратясь къ намъ, сказалъ: «въ жизни esprit de conduite важнѣе превысprenняго ума и всякаго ученія»...

Старикъ читалъ нотации и былъ доволенъ. Откуда, какъ не отъ него, получилъ Герценъ свой умъ всегда на сторожѣ, свою безпощадную иронию? Въ этой «зоологіи», сказанной вмѣсто «генеалогіи», заключается прообразъ будущихъ всесокрушающихъ остроцъ. Въ ребенкѣ старикъ видѣлъ и узнавалъ самого себя: достойный представитель его рода являлся на смѣну ухивившимъ на покой старикамъ, и представителемъ былъ его любимецъ Шушка, въ которомъ энергія и способности были ключемъ. Другое время и другая обстановка, и Иванъ Яковлевичъ употребилъ бы вѣроятно свой тяжелый досугъ на какіе нибудь злостные мемуары, гдѣ досталось бы по слугамъ каждому. Но онъ не терпѣлъ русскаго языка и только брюжжалъ на немъ: думалъ же и говорилъ всегда по французски. Русская литература занимала его столько же; русскихъ книгъ онъ не читалъ никогда и только разъ, услышавъ, что самъ Государь

интересуется «Исторіей» Карамзина, раскрылъ первый томъ, перевернулъ нѣсколько страницъ, зѣвнулъ и положилъ книгу на мѣсто, чтобы больше не дотрогиваться до нея никогда.

Теперь еще нѣсколько строкъ объ обстановкѣ дѣтскихъ лѣтъ Герцена.

«Проживавъ нѣсколько лѣтъ за границей, Иванъ Алексѣевичъ и сенаторъ хотѣли устроить жизнь на иностранный манеръ безъ большихъ тратъ и съ сохраненіемъ всѣхъ русскихъ удобствъ. Жизнь на иностранный манеръ не устраивалась—оттого ли, что не умѣли сладить, оттого ли, что помѣщичья натура брала верхъ надъ иностранными привычками. Хозяйство было общее, имѣніе нераздѣльное, огромная дворня заселяла нижній этажъ дома, всѣ условія безпорядка были налицо. Пока сенаторъ жилъ вмѣстѣ съ Иваномъ Алексѣвичемъ, общей прислуги было человекъ до шестидесяти, кромѣ ребятшекъ, которыхъ приучали въ праздности, лѣни, лганью»...

И вотъ здѣсь, среди безпорядка, капризовъ, лѣни, лганья, праздности, обилія на чужой счетъ, прошли дѣтскіе годы. Казалось бы, какія воспоминанія могли оставить они, кромѣ самыхъ безобразныхъ и нелѣпыхъ? А между тѣмъ самъ Герценъ помянулъ ихъ добрымъ словомъ и рассказалъ о нихъ намъ съ плохо скрытой любовью. Повинны въ этомъ такіе люди, какъ Кало, незнавшіе, чѣмъ и какъ угодить возлюбленному барчуку, какъ нянюшка Вѣра Артамоновна, готовая сто разъ повторять рассказъ о двѣнадцатомъ годѣ, о томъ, какъ французы ихъ всѣхъ ограбили; повинно самое дѣтство—послѣднее убѣжище для воспоминаній, когда все уже потеряно и дальше нѣтъ ничего. Старые бары въ этомъ отношеніи счастливыѣ насъ: имъ есть вспомнить добромъ хоть свое дѣтство.

«У Яковлевыхъ,—разсказываетъ Пассекъ,—спать меня вляли въ комнатѣ Луизы Ивановны, на небольшомъ диванѣ; тутъ же стояла и кровать Саши, обтянутая со всѣхъ сторонъ парусиной. Когда Вѣра Артамоновна, надрѣвши на него ночную сорочку, укладывала его въ кровать, тогда приходилъ Иванъ Алексѣевичъ, держа во рту коротенькую трубочку, и, покуривши слегка въ комнатѣ, онъ смотрѣлъ, какъ обметывали на живую нитку по постели Саши покрывавшую его простыню, чтобы онъ ночью, раскинувшись, не простудился. Когда эта операція была окончена, Иванъ Алексѣевичъ покрывалъ его бѣлымъ байковымъ одѣяломъ и, перекрестивши, — уходилъ въ свое отдѣленіе, осмотрѣвши напередъ, все ли въ комнатѣ въ порядкѣ. Такъ какъ Сашѣ подъ приметанной простыней нельзя было ни вскакивать на постели, ни прыгать съ нея, ни бѣгать, ни ломать ягруппекъ, то, по удаленіи Ивана Алексѣевича, у насъ начинались продолжительные разговоры, предметы которыхъ большей частью вертѣлись на

одномъ и томъ же: на страшномъ, поражающемъ воображеніе до того, что самымъ становилось жутко. Любимымъ рассказомъ Саши были ужасы, слышанные имъ отъ М-ше Прово о масонахъ, при ложѣ которыхъ ее мужъ занималъ когда-то такую-то должность, и о французской революціи, во время которой едва не повѣсили на фонарь ее почтеннаго сожителя. «Ранъ, начиналъ обыкновенно Саша, смирно лежа зашитый въ постели, М-ше Прово попала въ комнату, гдѣ собиравлись масоны, когда тамъ никого не было, и перепугалась такъ, что чуть не умерла со страха. Комната была вся обтанута чернымъ сукномъ, посрединѣ стоялъ столъ, на столѣ крестъ, на крестѣ два кинжала, на нихъ мертвая голова. На стѣнахъ висѣли портреты всѣхъ масоновъ въ свѣтъ, и если въ которыйнибудь изъ портретовъ выстрѣливали, то гдѣ бы ни былъ тотъ человекъ, чей портретъ былъ прострѣленъ, тотъ въ ту же минуту падалъ и умиралъ». Слушая это, я дрожала отъ страха и мнѣ всюду мерещились и черная комната, и кинжалы, и портреты. «А вотъ еще, говорилъ Саша, была во Франціи революція, всё шумѣли, кричали; кто не шумѣлъ и не кричалъ, тѣмъ рубили головы, народъ бѣгалъ по улицамъ, все билъ, ломалъ, потомъ приближали во дворецъ и тамъ все рубили и ломали, да надѣли себѣ на головы красные колпаки, заѣли пѣсни и пошли вѣшать людей на фонаряхъ, хотѣли повѣсить и М-еур Прово,—насилу спасла его Лизавета Ивановна»...

Рассказавъ эту малую исторію французской революціи, «Шушка» мирно засыпалъ въ своей кровати. И, въ самомъ дѣлѣ, что могло беспокоить его? Въ домѣ онъ былъ маленькимъ владѣтельнымъ принцемъ, всё поклонялись ему, всё слушались, всё развивали въ немъ тотъ безмѣрный эгоизмъ, къ которому онъ и такъ былъ склоненъ и по наслѣдственности, и по громадности своихъ дарованій. Правда, его окружало крѣпостничество, но не могъ же ребенокъ постигнуть сути его. Къ тому же чегонибудь особенно безобразно рѣзкаго онъ не видѣлъ, и не дѣтство воспитало въ немъ ненависть къ кабалѣ, а другія, болѣе позднія впечатлѣнія.

«Ни сенаторъ,—рассказываетъ онъ,—ни Иванъ Алексѣевичъ особенно не тѣснили дворовыхъ, т. е. не тѣснили физически. Сенаторъ былъ вспыльчивъ, нетерпѣливъ и поэтому нерѣдко несправедливъ, но онъ такъ мало имѣлъ съ ними соприкосновенія и такъ мало ими занимался, что они почти не знали другъ друга. Иванъ Алексѣевичъ доучалъ имъ капризами, не пропускалъ ни взгляда, ни слова, ни движенія и безпрестанно шпынял и училъ, что для русскаго человека хуже побоевъ,—но вѣдь въ такомъ положеніи находилась и вся семья.»

Тѣлесныя наказанія были почти неизвѣстны. Два, три случая, когда прибѣгли къ посредству частнаго дома, были до того необык-

новенны, что объ нихъ вся дворня говорила цѣлый мѣсяцъ. Часто отдавали дворовыхъ въ солдаты; наказаніе это приводило въ ужасъ всѣхъ молодыхъ людей; лучше хотѣли отправиться на конюшню, чѣмъ въ полкъ. Увидя однажды плачущаго рекрута, маленькій Герценъ подбѣжалъ къ нему и спросилъ:

— Вѣдь ты не хочешь идти въ солдаты?

— Не хочу...

— Какъ же тебя посылаютъ, если ты не хочешь?

Въ этомъ вопросѣ, если хотите, программа всей будущей философіи Герцена...

Случались порою и прямо безобразные факты, но безобразіе ихъ едвали было доступно дѣтскому пониманію. Я все же упомяну о нихъ, потому что ихъ смыслъ, ихъ идейное содержаніе послужило впоследствии темой для полнаго драматизма разсказа «Сорока-воровка».

У сенатора былъ поварь, обученный въ придворной кухнѣ. Кулинарные дарованія его были громадны и обращали на себя общее вниманіе любившихъ хорошо покушать москвичей. Въ концѣ концовъ онъ удостоился высшей для повара чести—былъ приглашенъ въ Англійскій клубъ. Положеніе его было повидимому великолѣпно. Прекрасное жалованье, власть надъ безчисленными поварятами, барская одежда и квартира—чего бы еще кажется? Но бѣднѣе въ недобрую минуту захотѣлось быть свободнымъ, и онъ предложилъ сенатору выкупъ, какой угодно. Сенаторъ отказалъ. «Зачѣмъ тебѣ свобода, сказалъ онъ, ты и такъ живешь, какъ хочешь»,—но тайную причину своего отказа онъ скрылъ. Дѣло въ томъ, что его самолюбію льстило имѣть знаменитаго повара. Когда онъ слышалъ похвалы ему, когда онъ видѣлъ, какъ объѣдаются гастрономы Англійскаго клуба,—онъ съ гордостью думалъ: «а вѣдь это мой Алексѣй». Получивъ отказъ, Алексѣй по обычному несчастному русскому рецепту сталъ пить, пропилъ все, утерѣлъ мѣсто и самъ пропалъ быстро и невозвратно.

У того же сенатора былъ молодой крѣпостной докторъ, лѣчившій весь домъ и удачно практиковавшій на сторонѣ. Какъ-то онъ влюбился въ бѣдную дворянку, скрылъ отъ нея свое сословное состояніе и женился. Мирно прошло нѣсколько лѣтъ, но на бѣду жена узнала какъ-то, что ея мужъ крѣпостной, и разошлась съ нимъ. Напрасно молилъ онъ о свободѣ... Онъ также запилъ и повѣсился...

Всего этого Герценъ не видалъ и не понималъ, хотя того, что онъ видѣлъ, было достаточно для перваго толчка возмущенной совѣсти...

* * *

Извиняюсь, что такъ долго останавливался на обстановкѣ, окружавшей Герцена въ его дѣтскіе годы. Но думаю, что эта обстановка сыграла въ его жизни гораздо болѣе важную роль, чѣмъ какую ей обыкновенно приписываютъ. Біографы-критики съ особенной словоохотливостью останавливаются на вліяніи кружковъ, ссылки и т. д. Никто и не думаетъ отрицать того вліянія, но нельзя забывать и о темпераментѣ, первыя проявленія котораго относятся къ дѣтству и тамъ же окончательно формируются. Съ нѣкоторыми незначительными ограниченіями можно, кажется, утверждать, что темпераментъ Герцена полученъ имъ прямо отъ отца. Иванъ Алексѣевичъ возродился въ сынѣ своемъ, но это обновленіе, эта метемпсихоза были обновленными, улучшенными и подверглись какъ бы очищенію. Въ отцѣ мы видимъ сильную наклонность къ ироніи, скептицизмъ, дошедшій до отрицанія всего кромѣ конвенансовъ, властолюбіе, а главное «капризность» характера. Можно ли отрицать въ сынѣ тѣ же черты? Правда, талантъ Герцена придалъ имъ другую окраску, осмыслилъ многое, что въ старикѣ явилось непосредственнымъ и порою даже грубымъ проявленіемъ натуры. Но сущность дѣла отъ этого нисколько не измѣняется. Герценъ ничему и никогда не могъ отдаться цѣликомъ. Его капризный, прихотливый умъ никогда не могъ отдаться ничему безусловно и, облюбовавъ какой-нибудь предметъ или человѣка, начиналъ немедленно же «подкапываться» подъ него, отыскивать въ немъ недостатки и, увлекаясь этой работой, доходилъ въ крайности своего увлеченія до парадоксовъ. Поэтому и могутъ существовать о Герценѣ такіа разнообразныя мнѣнія. Одни считаютъ его «идеалистомъ тридцатыхъ годовъ» (напр. А. М. Скабичевскій, Анненковъ), другіе—чистымъ пессимистомъ (напр. Н. Страховъ). На основаніи сочиненій Герцена можно доказать, и даже блестяще доказать, не только эти два мнѣнія, а еще десять имъ подобныхъ. Въ богато и разнообразно одаренной натурѣ Герцена сочетались противоположные элементы. Онъ глубоко пережилъ всѣ направленія своей эпохи; во всякой сферѣ, куда онъ ни обращался, онъ сказалъ новое слово, но онъ не могъ что-нибудь без-

условно признать и чему-нибудь отдаться цѣликомъ, тѣмъ менѣе навсегда. Отъ этого-то такіе прямолинейные люди, какъ напр. Чернышевскій, прямо-таки не долюбливали его и называли «баричемъ», отъ этого никогда никакой опредѣленной программы у Герцена не было. Возьмите его отношеніе къ Европѣ. Онъ совершенно разошелся съ ней и наговорилъ ей столько жесткой правды, какъ никто и никогда: ни въ настоящемъ, ни въ будущемъ европейскихъ народностей онъ не хотѣлъ видѣть ровно ничего хорошаго. Это уже крайность, излишняя требовательность ума и натуры, которая требуютъ или всего, или ничего. Совершенно такъ-же относился Иванъ Алексѣевичъ къ Россіи и самой жизни. Герценъ поддался чувству обиды и не хотѣлъ даже видѣть новыхъ ростковъ, которые давала европейская жизнь на его же глазахъ. То же вышло у него и съ эмиграціей, отъ которой онъ какъ будто требовалъ чего-то идеальнаго, и, не найдя его, дошелъ до раздраженія, почти до брани. Только на одно—на науку онъ никогда не посягалъ, а какъ и почему это вышло, увидимъ ниже. Пока же довольно сказаннаго и довольно помнитъ, что темпераментъ Герцена былъ прямымъ отрицаніемъ политической агитаціи, которая немыслима безъ фанатизма, что его глубокій, но капризный и аристократическій умъ, его склонность къ созерцанію—тянули его къ художественной дѣятельности. Вытянуть міросозерцаніе Герцена въ одну линію—невозможно, и только одна черта проходитъ красною нитью черезъ всѣ настроенія—это черта реализма, стремленія къ положительной мысли. К

* * *

Переходимъ къ разсказу. Совершенно естественно, что между отцомъ и сыномъ, несмотря на несомнѣнную любовь перваго и привязанность второго, столкновенія были неизбежны, какъ между двумя властолюбивыми, слишкомъ близкими въ своихъ крайностяхъ натурами. Этими стычками можно было бы наполнить цѣлыя страницы, но я предпочитаю остановиться на одной—самой рѣзкой и характерной.

Я уже упоминалъ, что Герценъ былъ незаконнорожденнымъ. Скрывали отъ него это очень долго, и лишь 12-ти лѣтъ узналъ онъ правду, узналъ совершенно случайно и, пожалуй, на горе себѣ. Миръ исчезъ изъ дѣтской души, неясныя, но тревожныя чувства

зашевелились въ ней. Что такое незаконный, почему незаконный — мальчикъ не знаетъ, но въ этомъ словѣ ему чуялось что-то тяжелое, гнетущее. Онъ сталъ раздражительнѣе и держалъ себя съ этой поры на сторожѣ, особенно съ родными отца. Онъ понималъ, что для нихъ онъ совершенно чужой. Его стѣсняло порою даже пребываніе въ своемъ домѣ.

«Разъ, — рассказываетъ Пассекъ, — при мнѣ, во время обѣда, проходившаго во всеобщемъ молчаніи, Иванъ Алексѣевичъ былъ въ особенно язвительномъ настроеніи духа и, не находя предмета, на который приходилось бы встать и влить его, прикинулся несчастнымъ, сталъ жаловаться на свою участь, недуги, безпомощность и сиротливость».

— И вотъ, — повершилъ онъ свои жалобы, на которыя никто не отзывался ни однимъ словомъ, — вотъ живу совсѣмъ одиноко, а по-видимому съ семействомъ. Живетъ у меня барышня съ своимъ сыномъ, воспитанникъ — наградила имъ сестрица-княгиня...

Александръ не далъ ему докончить этой рѣчи. Видъ себя, блѣдный, онъ всталъ изъ-за стола и дрожащимъ голосомъ сказалъ:

— Далѣе выносить вашихъ оскорбленій я не могу позволить ни себѣ, ни моей матери. При вашемъ взглядѣ на наши отношенія между нами ничего не можетъ быть общаго. Позвольте намъ сейчасъ же оставить вашъ домъ.

Старикъ былъ пораженъ и опомнился.

— Полно, помилуй, — заговорилъ онъ тихимъ, испуганнымъ голосомъ, — что ты, зачѣмъ, я такъ, ты понимаешь, ты знаешь меня, успокойся...

— Вы насъ притѣсняете, оскорбляете, — говорилъ Александръ въ сильномъ волненіи, — упрекаете въ чемъ... чья вина?.. наша что-ли? — нѣтъ, переносить эту унижительную жизнь далѣе нельзя... не должокъ... Боже мой!

— Полно, оставь, успокойся... прости меня, — сказалъ старикъ прерывающимся голосомъ и зарыдалъ.

Александръ закрылъ лицо руками.

Всѣ, страшно встревоженные, встали изъ-за стола.

Старикъ, охая и сгорбившись вдвое противъ обыкновеннаго, увелъ Александра къ себѣ въ кабинетъ. Спустилась часть времени Саша вышелъ изъ кабинета мрачный, разстроенный. Иванъ Алексѣевичъ смиренно лежалъ на диванѣ, голова его была обвязана батиновымъ платкомъ, намоченнымъ одеколономъ.

Съ этого времени старикъ сдѣлался сдержаннымъ и съ Сашей сталъ обращаться съ нѣкоторымъ уваженіемъ.»

Этотъ горячій взрывъ гордости, обиженного самолюбія хорошо показываетъ, какъ наболѣла душа Герцена въ частыхъ думахъ о незаконности. Быть можетъ эти же думы поставили его навсегда въ



противорѣчіе съ приличнымъ обществомъ. Онъ не долубливалъ его, не посѣщалъ никогда. Литераторы, ученые, изгнанники — вотъ его кружокъ со дней юности вплоть до самой смерти. Стараться о томъ, чтобы сдѣлаться своимъ въ гостиныхъ титулованныхъ родственниковъ, онъ не хотѣлъ и не могъ: гордость мѣшала, не позволяло чувство собственнаго достоинства.

II.

Какъ учился Герценъ.

Иванъ Алексѣевичъ нанялъ своему любимцу «француза Бушо изъ Меца учить по-французски и нѣмца Эка изъ Сарепты—учить по-нѣмецки». Немного замѣчательнаго въ обоихъ педагогахъ, и Герценъ въ «Быломъ и думахъ» удѣляетъ имъ всего нѣсколько строкъ.

«Бушо,—разсказываетъ онъ,—былъ мужчина высокаго роста, совершенно плѣшивый, кромѣ двухъ-трехъ пасмъ волосъ безконечной длины на вискахъ, Важность отпечатывалась не только въ каждомъ поступкѣ его, но и въ каждомъ движеніи. Онъ кланялся ногами, улыбался одной нижней губой, голова у него никогда не гнулась; ко всему этому французская фізіономія конца прошлаго вѣка, съ огромнымъ носомъ, нависшими бровями,—одна изъ тѣхъ фізіономій, которыя можно видѣть на хорошихъ гравюрахъ, представляющихъ народныя сцены временъ федераціи. Бушо уѣхалъ изъ Парижа въ самый разгаръ революціи и, припоминая теперь его слова и лицо, можно думать, что *citoyen Bouchot* не былъ празднымъ ни при взятіи Бастиліи, ни 10 августа. Онъ обо всемъ говорилъ съ пренебреженіемъ, кромѣ Меца и тамошней соборной церкви. О революціи онъ почти никогда не говорилъ, но какъ-то грозно улыбался.»

Всѣ усилія Бушо заинтересовать своего непокорнаго ученика грамматикой, спряженіями и склоненіями не приводили ни къ чему. Въ минуту самаго тонкаго обсужденія вопроса о различіи между тѣмъ и другимъ *passé* Герценъ внезапно задавалъ вопросъ: «а почему казнили Людовика XVI?», или еще болѣе пикантный: «а почему васъ не повѣсили на фонарь?». Бушо сердился, бранился и уходилъ наконецъ, опираясь на свою высокую суковатую палку.

Одинаково неудачно дѣйствовалъ и нѣмецъ изъ Сарепты—Иванъ Ивановичъ Экъ.

«Иванъ Ивановичъ, по преимуществу учитель музыки, былъ такъ же высокъ ростомъ, какъ и Бушо, но такъ тонокъ и гибокъ, что походилъ на развернутый англійскій футъ, который на каждомъ дюймѣ гнется въ обѣ стороны. Фракъ у него былъ сѣренкій, съ

противорѣчіе съ приличнымъ обществомъ. Онъ не долюбивалъ его, не посѣщалъ никогда. Литераторы, ученые, изгнанники—вотъ его кружокъ со дней юности вплоть до самой смерти. Стараться о томъ, чтобы сдѣлаться своимъ въ гостиныхъ титулованныхъ родственникововъ, онъ не хотѣлъ и не могъ: гордость мѣшала, не позволяло чувство собственного достоинства.

II.

Какъ учился Герценъ.

Иванъ Алексѣевичъ нанялъ своему любимцу «француза Бушо изъ Меца учить по-французски и нѣмца Эка изъ Сарепты—учить по-нѣмецки». Немного замѣчательнаго въ обоихъ педагогахъ, и Герценъ въ «Быломъ и думахъ» удѣляетъ имъ всего нѣсколько строкъ.

«Бушо,—разсказываетъ онъ,—былъ мужчина высокаго роста, совершенно плѣшивый, кромѣ двухъ-трехъ пасмъ волосъ безконечной длины на вискахъ, Важность отпечатлѣвалась не только въ каждомъ поступкѣ его, но и въ каждомъ движеніи. Онъ кланялся ногами, улыбался одной нижней губой, голова у него никогда не гнулась; ко всему этому французская фізіономія конца прошлаго вѣка, съ огромнымъ носомъ, нависшими бровями,—одна изъ тѣхъ фізіономій, которыя можно видѣть на хорошихъ гравюрахъ, представляющихъ народныя сцены временъ федераціи. Бушо уѣхалъ изъ Парижа въ самый разгаръ революціи и, припоминая теперь его слова и лицо, можно думать, что *citoyen Bouchot* не былъ празднымъ ни при взятіи Бастиліи, ни 10 августа. Онъ обо всемъ говорилъ съ пренебреженіемъ, кромѣ Меца и тамошней соборной церкви. О революціи онъ почти никогда не говорилъ, но какъ-то грозно улыбался.»

Всѣ усилія Бушо заинтересовать своего непокорнаго ученика грамматикой, спряженіями и склоненіями не приводили ни къ чему. Въ минуту самаго тонкаго обсужденія вопроса о различіи между тѣмъ и другимъ *passé* Герценъ внезапно задавалъ вопросъ: «а почему казнили Людовика XVI?», или еще болѣе пикантный: «а почему васъ не повѣсили на фонарѣ?». Бушо сердился, бранился и уходилъ наконецъ, опираясь на свою высокую суковатую палку.

Одинаково неудачно дѣйствовалъ и нѣмецъ изъ Сарепты—Иванъ Ивановичъ Экъ.

«Иванъ Ивановичъ, по преимуществу учитель музыки, былъ такъ же высокъ ростомъ, какъ и Бушо, но такъ тонокъ и гибокъ, что походилъ на развернутый англійскій футъ, который на каждомъ дюймѣ гнется въ обѣ стороны. Фракъ у него былъ сѣреный, съ

перламутровыми пуговицами, панталоны черныя, какой-то неопредѣленной, допотопной матеріи; онѣ смиренно прятались въ сапоги съ кисточками; ихъ выписывалъ Экъ изъ Саревты. Это было одно изъ тѣхъ тихихъ, кроткихъ нѣмецкихъ существъ, исполненныхъ простоты сердечной, кротости и смиренія, которыя, неузнанныя никѣмъ и счастливыя въ своемъ маленькомъ кружечкѣ, живутъ, любятъ другъ друга, играютъ на фортепіано и умираютъ такъ, какъ жили. Это лицо изъ реформаціи, изъ времянъ пуританизма во всей его чистотѣ.»

Съ Иваномъ Ивановичемъ Герценъ церемонился еще меньше, чѣмъ съ Бушо. По-нѣмецки онъ и раньше говорилъ хорошо, а въ надобности грамматики сомнѣвался сильно. Онъ становился внимательнымъ лишь въ тѣ минуты, когда Экъ читалъ ему Шиллера, но и тутъ бѣда: «не успѣвъ чувствительный нѣмецъ раскрыть книгу, какъ сейчасъ расплачется и хлюпасть такъ, точно ходить по лужѣ».

Живость характера, скука преподаванія мѣшали Герцену учиться. Вѣдь сколько нужно почтительности, смиренія, подчасъ заботности, а больше всего дрессировки, чтобы изучать... хотя бы грамматику. Но ни однимъ изъ этихъ качествъ, способствующихъ воспріятію всѣхъ *passé*, предлоговъ и союзовъ, Герценъ не обладалъ. Пытались воздѣйствовать на его самолюбіе, но и тутъ подошли очевидно не съ той стороны, съ какой слѣдовало. Однажды Бушо, испробовавъ всѣ средства, усадилъ за урокъ вмѣстѣ съ Герценомъ Т. Пассекъ. Дѣвочка бойко отвѣчала на всѣ вопросы, но ея пріятель оставался невнимательнымъ попрежнему. Мало того, послѣ урока, когда обнаружилось все его невѣжество, онъ проявилъ чрезвычайную радость: «Знаешь, Таня,—сказалъ онъ,—Бушо хотѣлъ тебя срѣзать, да не удалось...»

Онъ учился самъ. Рано начавши читать, онъ пристрастился къ этому занятію. Доступъ въ бібліотеку былъ совершенно свободенъ, за выборомъ книгъ не слѣдилъ никто. Потребность свободы, развлечения и знанія была удовлетворена.

Былъ впрочемъ одинъ педагогъ, вліяніе котораго сильно задало молодого Герцена. Это — Иванъ Евдокимовичъ Протопоповъ, преподаватель русской словесности, студентъ медицины. Волосы носилъ онъ ужасно длинные и вѣроятно никогда не чесалъ ихъ по выходѣ изъ рязанской епархіальной семинаріи; на иностранныхъ словахъ ставилъ онъ дикія, совершенно произвольныя ударенія, а французскія щедро снабжалъ русскимъ *э* на концѣ. Но у него была теплая человѣческая душа и съ нимъ съ первымъ Герценъ сталъ

заниматься, хотя и не съ самаго начала. Пока дѣло шло о грамматикѣ, которая шла въ корню, и о географіи и арифметикѣ, которыя бѣжали на пристяжкѣ, Протопоповъ находилъ въ своемъ ученикѣ упорную лѣнь и разсѣянность, приводившую въ удивленіе самого Бушо, не удивлявшагося вообще ничему, кромѣ соборной церкви въ Мецѣ. Побившись и едва не дойдя до отчаянія, Протопоповъ рѣшился перемѣнить одну пристяжку, закончилъ кое-какъ географію и принялся за исторію по новому способу. вмѣсто того чтобы задавать въ Шреккѣ до отмытки ногтемъ, онъ рассказывалъ своими словами, *что* помнилъ и *какъ* помнилъ; Герценъ долженъ былъ на другой день повторять ему и также своими словами, благодаря чему исторіей онъ сталъ заниматься съ величайшимъ прилежаніемъ. Протопоповъ удивился и, утомленный лѣнью ученика въ грамматикѣ, преспокойно положилъ ее въ сторону и, вмѣсто того чтобы разбираться въ безконечныхъ спорахъ между *ъ* и *е*,—принялся за словесность.

«Но въ чемъ собственно состояло преподаваніе словесности Ивана Евдокимовича,—вспоминаетъ Герценъ,—мудрено сказать; это было какое-го отрицательное преподаваніе. Принимаясь за реторику,—онъ объявилъ мнѣ, что она пустѣйшая вѣтвь изъ всѣхъ вѣтвей и сучковъ древа познанія добра и зла, вовсе ненужная, ибо «кому Богъ не далъ способности красноречиво говорить, того ни Квинтиліанъ, ни Цицеронъ не научатъ, а кому далъ, тотъ родился съ риторикой». Послѣ такого введенія онъ началъ по порядку толковать о фигурахъ, метафорахъ, хризахъ. Потомъ онъ мнѣ предписалъ *diigne* тапи *postur*aque переворачивая листы образцовыхъ сочиненій — гигантской хрестоматіи томовъ въ 12 и прибавилъ для поощренія, что десять строкъ «Кавказскаго Пѣвника» Пушкина лучше всѣхъ образцовыхъ сочиненій Муравьева, Капниста и пр. Не смотря на всю забавность отрицательнаго преподаванія, въ совокупности всего, что говорилъ Протопоповъ, проглядывалъ живой, широкій современный взглядъ на литературу, который я умѣлъ усвоить и, какъ обыкновенно дѣлаютъ послѣдователи, возвелъ въ квадратъ и кубъ всѣ односторонности учителя. Прежде я читалъ съ одинаковымъ удовольствіемъ все, что попадалось: трагедіи Сумарокова, сквернѣйшіе переводы 80-хъ годовъ разныхъ комедій и романовъ; теперь я сталъ выбирать, цѣнить. Протопоповъ былъ въ восторгѣ отъ новой литературы, и я, бравши книгу, справлялся тогчасъ, въ которомъ году она напечатана, и бросалъ ее, ежели она была напечатана болѣе 5-ти лѣтъ тому назавъ, хотя бы имя Державина и Карамзина предохраняло ее отъ такой дерзости. Зато поклоненіе юной литературѣ сдѣлалось безусловнымъ, и не мудрено: великій Пушкинъ являлся властителемъ литературнаго движенія.»

III.

Дружба съ Огаревымъ.

Не помню, у кого вырвалось меланхолическое замѣчаніе: «изъ двухъ друзей одинъ всегда рабъ, другой — господинъ». Если что тутъ невѣрно, то развѣ слово «всегда», сама же по себѣ мысль глубока и въ сущности справедлива. Только греки умѣли быть равными въ дружбѣ, оттого-то они и ставили это чувство выше любви.

Касторы и Поллуксы въ наше время рѣдкость. Отношеній пріятельскихъ можно видѣть довольно, случаются и товарищескія, но дружба въ смыслѣ полного единенія или, какъ прежде выражались, «гармоніи душъ» замѣтно вымираетъ. Надо думать, что это слишкомъ нѣжное чувство для нашей дѣйствительности и не можетъ удержаться въ атмосферѣ, гдѣ себялюбіе на первомъ планѣ, гдѣ всякій цѣнитъ себя слишкомъ ужъ какъ-то высоко. Какъ и для всего хорошаго, для дружбы нужно извѣстное самоотреченіе, своего рода широта сердечной жизни, нужны и интересы, которыми можно было бы вдохновляться сообща. Всего этого мало, слишкомъ даже мало, и дружба вымираетъ. А жаль. Въ дружбѣ, хотя бы она длилась годы, есть всегда что-то юное и свѣжее: она не старѣется, не изнашивается. «Это вѣчно цвѣтушій богъ Греціи», — сказалъ когда-то Шиллеръ.

* Герценъ и Огаревъ были друзьями. Они сошлись дѣтми и только смерть разлучила ихъ. Но не трудно угадать, какой характеръ носила ихъ дружба и кто былъ господиномъ. Герценъ или не сходился съ человѣкомъ, или подчинялъ его себѣ всего, цѣликомъ, навсегда.

О взаимныхъ отношеніяхъ друзей, ихъ общей работѣ мнѣ придется говорить не разъ. Эта глава посвящена лишь восходамъ дружбы.

Отъ времени до времени Ивана Алексѣевича навѣщаль его дальнѣй родственникъ Платонъ Борисовичъ Огаревъ. Иногда онъ приводилъ съ собой своего сына, мальчика лѣтъ 13, котораго обыкновенно звали Никъ. Кроткій, тихій, онъ во все время посѣщенія сидѣлъ въ гостиной на стулѣ и разсѣянно смотрѣлъ на окружающіе предметы своими печальными глазами. Онъ былъ ровесникомъ Герцена, и мальчики скоро сошлись, какъ настоящіе идеалисты, за чтеніемъ Шиллера.

«Читая, мы были удивлены сходствомъ нашихъ вкусовъ. Тѣ мѣста, которыя любилъ я, любилъ и Никъ, которыя зналъ наизусть я—зналъ и Никъ, только гораздо лучше меня. Непонятной силой влеклись мы другъ къ другу; сложили книги и стали высказывать другъ другу свои мысли, чувства, стремленія; стали высказывать самихъ себя. Все было общее»...

Не прошло и мѣсяца, какъ Герценъ привязался къ Нику со всей порывистостью своей горячей натуры и не могъ прожить дня, чтобы или не повидаться съ нимъ, или не написать къ нему письма. Никъ любилъ его тихо и глубоко; его чувство теплилось какъ лампада передъ образомъ, Герценъ на первыхъ порахъ по крайней мѣрѣ пылалъ костромъ.

«Мы были неразлучны; въ каждомъ воспоминаніи того времени, общемъ и частномъ, вездѣ на первомъ планѣ—онъ съ своими отроческими чертами, съ своею любовью ко мнѣ. Рано видѣлось въ немъ то помазаніе, которое достается немногимъ, на бѣду ли, на счастье ли—не знаю, но навѣрное на то, чтобы не быть въ толпѣ.»

Они любили, забравшись вмѣстѣ въ дальнюю комнату, куда не проникалъ ироническій взглядъ отца, читать вмѣстѣ Шиллера, говорить и думать вслухъ по цѣлымъ часамъ. Иногда они ходили вмѣстѣ за городъ, гдѣ у нихъ были излюбленные мѣста: поля за Дорогомиловской заставой, Воробьевы горы. Отсюда любовались они широкой панорамой Москвы, лежавшей у ихъ ногъ, яркимъ блескомъ золоченыхъ куполовъ на лучахъ восходящаго солнца; здѣсь читали наизусть свои излюбленные стихи. Разъ они запоздали на Воробьевыхъ горахъ вплоть до сумерекъ; солнце закатывалось, потопляя въ пурпурѣ громадный городъ. Они стояли на мѣстѣ закладки храма Христа Спасителя и въ восторгѣ вдохновенія взяли другъ друга за руки и въ виду Москвы дали клятву въ дружбѣ и

борьбѣ за истину. Огаревъ вспомнилъ потомъ эту минуту въ стихахъ:

Они дѣтими встрѣчались часто,
И будущность вдали свѣтила имъ;
И создали они себѣ сонъ жизни золотой
И поклялись молодыхъ сердецъ надежды
Осуществить урочною порой...

Осуществить урочною порой... Урочная пора не пришла... Пришлось сказать тому же Огареву на порогѣ могилы:

Да, сердце замерло!... быть можетъ даже намъ
Иначе кончить бы почти что невозможно,
Такъ многое прошло по тощимъ суетамъ,
Успѣхъ былъ не великъ, а жизнь прошла тревожно.
Но я не сѣтую на строгія дѣла,
Мнѣ только силы жаль, что не достигла дѣли,
Иначе бы борьба побѣдою была,
И мы бы преданно надолго уцѣляли.

Что за натура былъ Огаревъ? Во имя чего онъ слѣдовалъ за Герценомъ, почти никому неизвѣстный, почти безъ славы, имѣя въ сердцѣ невыносимую тяготу личнаго горя? Во имя чего онъ, богачъ, роздалъ все и умеръ почти нищимъ? На эти вопросы мы должны отвѣтить немедленно.

Огаревъ родился въ богатой родовитой семьѣ въ 1812 или 13-мъ году.

«До семи лѣтъ дѣтство мое,—вспоминаетъ онъ,—было, быть можетъ, мило, но мало интересно, такъ что и рассказывать не хочется... Время около 1820 г. было странное время, время общественной разладицы, которая подвигалась медленно и не знала, куда придеть. Большинство еще торжествовало побѣду надъ французами, меньшинство начинало вѣрять въ возможность переворота и собирало силы... Себя я помню въ это время ребенкомъ въ большомъ домѣ, въ Москвѣ, помню отца съ двумя крестами, помню бабушку большого роста и бабушку маленькаго. Помню старуху-няню съ повязаннымъ на головѣ платкомъ. Няня эта была при мнѣ неотлучно, почти до моего десятилѣтняго возраста. Такимъ образомъ все дѣтство мое прошло на попеченіи женскомъ. Няня меня любила, не смотря на то, что мужа ея отдали въ солдаты за какой-то проступокъ противъ барскихъ приказаній, а ее, какъ одинокую, приставили ко мнѣ. Кромѣ няньки, былъ приставленъ ко мнѣ еще и старый дядька. Должность его состояла въ томъ, чтобы забавлять меня игрушками и учить читать и писать. Ходилъ онъ всегда въ сѣромъ фракѣ. Я считалъ дядьку своимъ лучшимъ другомъ за то, что онъ дѣлалъ мнѣ отличныя игрушки. Не смотря на то, что онъ былъ крѣпостной человекъ, онъ былъ до того нравствененъ, что не сказалъ при мнѣ ни одного

грязного слова. Весь недостаток его состоялъ только въ томъ, что временами, подъ вечеръ, дядька бывалъ нѣсколько пьянъ, и тогда на него нападала страсть доказывать моему отцу, что меня воспитываютъ не такъ, какъ слѣдуетъ. Остановить старика не было возможности. Иногда случалось, что его настойчивыя разсужденія заканчивались трагически. Дядька уходилъ опечаленный, а я дрожалъ отъ страха и негодованія. Онъ вредилъ мнѣ лишь однимъ, совокупно со всей окружающей меня жизнью,—безмысленнымъ отношеніемъ къ религіи. Въ комнатѣ моей стоялъ огромный кіотъ съ образами въ золотыхъ и серебряныхъ ризахъ, передъ которыми отецъ мой приходилъ каждый вечеръ молиться, какъ только меня укладывали спать. Одна изъ бабушекъ то и дѣло развѣзжала по монастырямъ и задавала пышные обѣды архіереямъ. Съ семилѣтняго возраста меня стали заставлять въ великій постъ говѣть. Я слезно каюся во грѣхахъ, которые, разумеется, придумывалъ, и даже плакалъ отъ раскаянія въ своихъ небывалыхъ прегрѣшеніяхъ; каждое утро и каждый вечеръ безсознательно молился, клалъ земные поклоны передъ кіотомъ и усердно читалъ указанныя молитвы по толстому молитвеннику, ничего не понимая въ нихъ.

«Такъ какъ это настроеніе было безотчетно и искусственно, то оно скоро и растаяло подъ влияніемъ чтенія Вольтера и Байрона, какъ только мнѣ дали ихъ въ руки, и мало по малу ушло въ противоположную сторону. Когда мнѣ было около тринадцати лѣтъ, доброго дядьку моего усадили на житье въ деревню, а ко мнѣ приставили руководителя-нѣмца, котораго я возненавидѣлъ съ первой минуты. Нѣмецъ этотъ, небольшой ростомъ, тщедушный, рябой, плѣшивый, съ золотистой накладкой на головѣ, считалъ себя неограниченно привлекательнымъ; онъ былъ мнѣ полезенъ только тѣмъ, что развилъ во мнѣ физическую силу, и я подъ его надзоромъ изъ болѣзненного мальчика вышелъ здоровымъ юношей. Помимо своей воли онъ имѣлъ однако сильное вліяніе на всю мою жизнь: онъ случайно сблизилъ меня съ меньшимъ сыномъ Ип. Алекс. Яковлева—Александромъ. Мы полюбили другъ друга и подружились на всегда.»

Двѣ натуры, два характера, не имѣвшіе между собой ничего общаго, кромѣ стремленія къ смутнымъ дѣтскимъ идеаламъ, сошлись на жизненномъ пути и прошли его весь отъ начала до конца рука въ руку. «Герценъ—это вѣчно дѣятельный европеецъ, живущій экспансивною жизнью, который принимаетъ идеалы съ тѣмъ, чтобы ихъ уяснить, развить, разбрасывать. Никъ—квѣтическая Азія, въ душѣ которой почилъ глубокая мысль, ей самой неясная». Герценъ—изъ типа Вольтеровъ, съ родственнымъ великому философу талантомъ; Огаревъ—изъ типа Руссо, безъ его генія, но съ той же глубокой чувствъ, тою же застѣнчивостью и еще болѣе искренній. Онъ никогда не доходилъ до злобы, проклятій; не знаю,—раздражался ли

онъ когда нибудь. Робкая, недѣтельная натура, онъ всякое горе запрытывалъ глубоко-глубоко въ сердцѣ и старался «всосать» его въ себя, но это плохо удавалось: тяжелая непроглядная тоска, сѣрая и неподвижная, какъ туманъ на болотѣ, грызла его безъ устали. Въ то время какъ обида или сознание несправедливости сейчасъ же принимали у Герцена форму протеста, когда онъ старался отмстить своему врагу, задавить его безъ всякаго состраданія, Огаревъ прощалъ и любилъ. Онъ кончилъ водкой, и его предсмертные стихи почти такъ-же страшны, какъ знаменитые «Къ сивухѣ» Полежаева.

Напиваясь влагой кроткой,
Напиваясь виномъ,
Напиваясь просто водкой,
Шелъ я жизненнымъ путемъ.
И сломалъ себѣ я ногу,
И хромающій поэтъ
Какъ-то дожилъ понемногу
До шестидесяти лѣтъ...

«И шестидесятилѣтнимъ старикомъ, прикованный къ креслу, Огаревъ грустно смотрѣлъ на прошлую жизнь: борьба не была побѣдой...»

У него былъ несомнѣнный поэтический даръ, но даръ не живой, не дѣятельный, не энергичный—это какъ бы дремлющій богъ Египта, сфинксъ, непонимающій самъ своей тайны. Онъ чувствовалъ глубоко, до слезъ, до отчаянія и восторга, но голосъ его былъ слабъ, неблагозвученъ. Какъ застѣнчивый человѣкъ краснѣетъ и молчитъ передъ любимой женщиной, въ то время какъ его щеки пылаютъ отъ внутренняго огня, когда сердце бьется и трепещетъ, когда страстное слово просится наружу, чтобы прозвучать на весь міръ чуднымъ аккордомъ любви, преданности, преклопенія, когда грудь тѣснится отъ невысказаннаго чувства, чистаго какъ утренняя роса, могучаго какъ голосъ пророка... увы!—словъ нѣтъ, и Огаревъ не находитъ ихъ даже въ минуту творчества. Его талантъ былъ чуднымъ инструментомъ, но тайна его механизма осталась на вѣки тайной для самого Огарева. Читая его стихи, вы ежеминутно ждете, что вотъ, вотъ прозвучитъ что-то сильное и прекрасное,—но нѣтъ, безпомощность чувствуется уже въ ближайшей строчкѣ.

Къ вѣрѣ, и притомъ вѣрѣ религіозной, къ любви задушевной, полной преданности, самоотреченія, къ подвигамъ братства тянуло его постоянно. Жизнь отняла его вѣру и дважды растоптала его

любовь. Онъ всосалъ въ себя горе, но, Боже, сколько тоски оставило оно по себѣ...

Онъ самъ разсказалъ намъ, какъ формализмъ обстановки, земные поклоны, объѣды съ архіереями надломили его вѣру въ самомъ началѣ. Потомъ онъ любилъ. Его первая жена, Марья Львовна, съ которой Тургеневъ списалъ т-ше Лаврецкую въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ», красивая, изящная великосвѣтская барыня, вышла за него по расчету. Между ними не было ничего общаго. Съ кружкомъ, который былъ для Огарева дороже всего въ жизни, она не сошлась и разсорила даже съ Герценомъ. Огаревъ страдалъ молча, тихо, покорно: ни другомъ, ни женой пожертвовать онъ не могъ. Наконецъ жена бросила его, кружилась нѣсколько лѣтъ въ Парижѣ, въ то время какъ Огаревъ изнывалъ отъ тоски въ деревнѣ. Новая любовь освѣтила его жизнь. Въ Натальѣ Алексѣевнѣ Тучковой онъ нашелъ повидимому все, что искалъ, и прежде всего умъ. Она также привязалась къ нему, но ея привязанность была скорѣе привязанностью сестры, чѣмъ жены. Ей нуженъ былъ герой, чтобы страсть вспыхнула: другой и овладѣлъ ею по праву сильнѣйшаго. Послѣ этого не рана уже въ сердцѣ, а ракъ въ сердцѣ образовался у Огарева: жизнь его задрезжала, запрыгала, какъ плохо сколоченная телега, чтобы разсыпаться на первомъ кособорѣ. Вино сдѣлало свое дѣло.

Огаревъ былъ изъ обреченныхъ. Вся его жизнь пошла на другіхъ, онъ отдавалъ все сердце цѣликомъ,—что получилъ онъ взамѣнъ? Уваженіе, дружбу. Но того, что ему было нужно, какъ вода для человѣка, какъ воздухъ для огня,—любви и ласки женщины, которая согрѣла бы его, пробудила бы своею страстью его дремлющія силы, его молчаливый талантъ, онъ не видѣлъ никогда. Единственный свѣтъ въ его жизнь вносила дружба Герцена. Эта дружба, вторгшись въ его молчаливое меланхолическое существованіе, властно перевернула его въ другое русло. Только съ Герценомъ Огаревъ отрѣшался отъ своей застѣнчивости, не покидавшей его даже въ спальнѣ жены; только съ нимъ умѣлъ онъ быть совершенно откровеннымъ и проявлять себя всего. Еслибы Герценъ былъ женщиной или мистикомъ, Огаревъ сталъ бы великимъ поэтомъ; еслибы Герцена не было совсѣмъ, Огаревъ пошелъ бы по дорогѣ Ивана Бирѣвскаго вплоть до Оптиной пустыни. Но судьба заставила его отдать всю свою жизнь политикѣ, удѣляя

немногія минуты на поэтическое творчество и на музыкальныя импровизаціи. За возможность быть самимъ собой, за возможность хотя иногда не только ощущать въ себѣ глубину, но и проявлять ее, Огаревъ и любилъ такъ сильно Герцена, любилъ какъ братъ, другъ и—зачѣмъ бояться слова?—какъ рабъ. Есть что то глубоко трогательное въ его привязанности, выдержавшей всѣ удары и всѣ испытанія вплоть до пожертвованія любимымъ существомъ. Онъ жилъ съ Герценомъ, думалъ какъ Герценъ и служилъ тѣмъ же цѣлямъ, которыя создавалъ его другъ. *Лучшія минуты его вдохновенія принадлежатъ товарищу. Въ немъ сила опоры, источникъ энергіи; его страстная рѣчь пробуждаетъ желаніе работать, бороться, и квіетическая Азія не даетъ меланхоліи совершенно завладѣть собой, не даетъ тоску задавить себя.* Порою у меланхолика Огарева вырываются даже мужественные стихи—нечего и говорить подъ чьимъ вліяніемъ. Въ сонетѣ, посвященномъ Герцену, онъ говоритъ:

«О! Еслибъ ты подумать только могъ,
Что пробудилъ во мнѣ твой голосъ издалека,
Какъ вызвалъ тѣмъ заглухнувшихъ тревогъ,
Какъ рану старую разбередилъ глубоко.
Въ испугѣ ты и съ воплемъ бы ко мнѣ
На шею кинулся, любя меня какъ прежде;
Но, свидясь вновь, мы въ скорбной тишинѣ
Уже не вѣрится ребяческой надеждѣ.
Нѣтъ, проклять будетъ этотъ вѣкъ,
Гдѣ торжествуетъ все, что низко и лукаво,
И гдѣ себѣ хорошій человекъ
Страданья приобрѣлъ убійственное право.
Но все-жъ впереди!»

IV.

Университетъ.

(1830—1833.)

Вмѣстѣ съ Огаревымъ Герценъ сталъ готовиться въ университетъ. Право это досталось ему не безъ борьбы. Иванъ Алексѣевичъ сначала и слышать не хотѣлъ «о какихъ-то тамъ университетахъ», но въ концѣ концовъ согласился. Чтобы чѣмъ нибудь утѣшить себя, старикъ позвалъ сына къ себѣ въ спальню и задалъ ему жесточайшій нагоняй, что всѣ и во всемъ ему перечать, что онъ только для того и называется главой дома, чтобы его никто не слушалъ, и т. д. Герценъ едва не прыгалъ отъ радости, выслушалъ всю нотацию съ самымъ почтительнымъ видомъ и, услышавъ заключительное: «ну, Богъ съ вами со всѣми», выскочилъ, какъ угорѣлый отъ радости. Ему было восемнадцать лѣтъ, старый домъ съ его капризнымъ режимомъ былъ ему тѣсенъ, потребность въ товариществѣ, въ одушевленныхъ спорахъ, въ гулѣ молодыхъ голосовъ чувствовалась все настойчивѣе. Правда, жизнь и въ старомъ домѣ была хороша, но впечатлѣнія его прискучили своимъ однообразіемъ, успѣли набить оскомину...

Я вошелъ... тѣ же комнаты были...
Здѣсь ворчалъ недовольный старикъ;
Мы бесѣды его не любили,
Насъ страшилъ его черствый языкъ...
Вотъ и комнатка,—съ другомъ, бывало,
Здѣсь мы жили умомъ и душой:
Много думъ золотыхъ возникало
Въ этой комнаткѣ прежней порой...
Въ нее звѣздочка тихо свѣтила,
Въ ней остались слова на стѣнахъ:

Ихъ въ то время рука начертила,
Когда юность кнѣла въ сердцахъ.
Въ этой комнатѣ счастье бывшее..
Дружба свѣтлая выросла тамъ...

Да, много было хорошаго въ старомъ угрюмомъ домѣ, но юность просилась въ иную обстановку, на ширь и просторъ, искала науки, вліянія, дѣла, и все это думала найти въ университетскихъ стѣнахъ. Рѣдко кто въ наши дни подходитъ къ «святилищу науки» съ тѣми чувствами и мыслями, съ тѣми неясными надеждами, смутными, но хорошими ожиданіями, съ какими подходили къ нему Огаревъ и Герценъ слишкомъ шестьдесятъ лѣтъ тому назадъ...

Друзья легко выдержали вступительный экзаменъ и явились домой студентами физико-математическаго отдѣленія. Въ душѣ они, разумеется, считали себя совсѣмъ большими и совсѣмъ свободными, но освободиться отъ отеческой фѣрулы было не такъ то легко.

«Замѣчательнѣе, — рассказываетъ Пассекъ, — былъ отпускъ Саши на первую лекцію. Карлу Ивановичу Зонненбергу поручалось сопровождать его. Передъ отпускомъ Иванъ Алексѣевичъ давалъ ему наставленія, какъ бережно доставить «Шушку» въ школу (подъ школой слѣловало подразумевать университетъ) и обратно домой; предписывалось лично присутствовать на лекціи, смотрѣть, чтобы Шушка, уѣзжая изъ школы, садясь въ санки, былъ закутанъ, а то-де онъ, пожалуй, думая, что теперь студентъ, — шапку на бекрень, шубу на одно плечо. Зонненбергъ, проникнутый достоинствомъ роли ментора, почтительно слушая, рисовался передъ Иваномъ Алексѣевичемъ, шаркалъ и съ видомъ человѣка, готоваго постоять за себя и за другихъ, закладывая ногу за ногу. Саша торопился уѣхать, глаза его горѣли радостью освобождающагося плѣнника и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ выходилъ изъ себя съ досады на распоряженія, которыми дѣлались относительно его.

«Мы проводили ихъ до передней, потомъ смотрѣли изъ окна, какъ они выѣзжали со двора, оберегаемые сидѣвшимъ на облучкѣ, рядомъ съ кучеромъ, камердинеромъ Саши, Петромъ Ѳедоровичемъ; они, торжественно улыбаясь, вѣяли намъ изъ широкихъ саней, застегнутые медвѣжьей полостью.»

Зонненбергъ сопровождалъ Герцена въ школу и присутствовалъ на лекціяхъ, въ качествѣ ментора, около трехъ мѣсяцевъ; а Петръ Ѳедоровичъ (лакей) сопровождалъ и оберегалъ его въ продолженіе всего курса, втеченіе котораго передружился со всѣми университетскими солдатами, узналъ имена всѣхъ профессоровъ и студентовъ физико-математическаго факультета и зналъ, по какимъ днямъ какія лекціи читаются.

«Началась университетская жизнь. Жизнь эта, — рассказывал потом Герценъ, — оставила у насъ память одного продолжительнаго пира идей, пира науки и мечтаній, непрерывнаго, торжественнаго, иногда бурнаго, иногда мрачнаго, разгульнаго, но никогда порочнаго.»

«Оживить это прошедшее время, сдѣлать его вполне понятнымъ въ разсказѣ—невозможно; чтобы вспомнить всѣ мечты, всѣ увлеченія, надо очень много не знать, очень многого не испытать, надобно перезабыть бездну фактовъ, стереть съ души бездну пыли, соскочить пятна, заживить рубцы, освѣтить весь міръ алымъ свѣтомъ востока, всѣмъ предметамъ дать положительные тѣни, утреннюю свѣжесть и разительную новость. Мало того, надо, чтобы друзья юности собрались вмѣстѣ въ той же комнаткѣ, обитой алыми обоями съ золотыми полосками, передъ тѣмъ-же мраморнымъ каминомъ, въ томъ же дыму отъ трубокъ»...

Герценъ правъ: оживить того времени невозможно; оно слишкомъ пылко, юно, неопредѣленно. Прелесть его не въ немъ самомъ, а въ тѣхъ, кто его переживалъ, кто чувствовалъ въ себѣ присутствіе всемогущаго Бога юности, чьи непочатые силы, горячее воображеніе, волнующаяся кровь преображали маленькій, скромный, почти опальный университетъ, выкрашенный въ одну краску съ казармами, въ святилище науки, въ центръ мысли, откуда должны излиться свѣтъ и счастье на всю бѣдную родину.

Когда Герцену сказали, что какъ разъ надъ той комнатой, гдѣ собирались друзья юности, портной повѣсилъ свою скучную прозаическую вывѣску, онъ замѣтилъ шутя: «я увѣренъ, что, если существуютъ духовные міазмы, этотъ портной шьетъ *мечтательные* фраки, *энциклопедическіе* жилеты и *фантастическіе* сюртуки»... Да, мечты, энциклопедія, фантазія, гуманизмъ, страстная жажда все передѣлать, все пересоздать однимъ порывомъ взволнованной юности—вотъ они университетскіе прежніе годы, оставлявшіе въ человѣкѣ свою закваску на всю жизнь...

Друзья проповѣдывали. Что?... — трудно сказать. Идеи были смутны, общества въ сущности не было, но пропаганда пускала глубокие корни во всѣ факультеты и переходила въ стѣны университета. Возбужденная мысль требовала исхода, пробудившіеся вопросы—разрѣшенія. Молодежь распадалась на кружки—философскіе и политическіе, смотря по темпераменту участниковъ. Но рѣзко различіе проявилось лишь впоследствии.

На первомъ планѣ надо поставить кружокъ Станкевича.

Станкевичъ жилъ у профессора Павлова. По вечерамъ друзья со-

бирались въ его скромной квартирѣ, и здѣсь велись оживленные бесѣды о чувствѣ изящнаго, о любви, дружбѣ, прекрасномъ. Здѣсь Красовъ разсказывалъ свои встрѣчи съ неземными существами, здѣсь Станкевичъ читалъ своимъ товарищамъ, не знавшимъ еще нѣмецкаго языка, какъ напр. Бѣлинскому, своихъ любимыхъ нѣмецкихъ поэтовъ — Шиллера, Гёте, Гофмана. Изъ русскихъ же писателей друзья зачитывались Пушкинымъ и Жуковскимъ и лишь впоследствии Лермонтовымъ и Гоголемъ. Въ это время въ кружкѣ Станкевича Шиллеръ преобладалъ еще надъ Гёте, но болѣе всего друзья увлекались Гофманомъ. Мечтатель-фантазеръ, который не могъ заговорить объ искусствѣ равнодушно, и если касался этого предмета, то не иначе изображалъ его, какъ въ огненномъ, нестерпимомъ блескѣ и въ сверхъестественныхъ фантастическихъ размѣрахъ... Такой писатель былъ какъ нельзя болѣе подѣ-стать юнымъ мечтателямъ и поклонникамъ искусства, исполненнымъ преданностью къ прекрасному до фанатизма.

Кружокъ Станкевича, какъ и его глава, отличался замѣчательнымъ цѣломудріемъ. «Здѣсь—говоритъ Анненковъ—жизнь шла трезво и бодро и, благодаря своему главѣ, носила рѣдкій отпечатокъ скромности. Несмотря на природную веселость Станкевича, было что то умѣренное и деликатное въ его шуткѣ, подобно тому какъ мысль его отличалась истиннымъ цѣломудріемъ, несмотря на страсти и увлеченія молодости. Все это конечно держало разнородныя личности, изъ которыхъ состоялъ его кругъ, въ одномъ общемъ настроеніи и на одинаковой нравственной высотѣ».

Ахъ, что такое жизнь?.. Какая череда
Создать меня съ сознаниемъ могла?

таковъ былъ основной вопросъ кружка высоконастроенныхъ юношей. «Болѣзненный, тихій по характеру, поэтъ и мечтатель, Станкевичъ естественно долженъ былъ болѣе любить отвлеченное мышленіе, чѣмъ вопросы жизненные и чисто практическіе; его артистическій идеализмъ ему шелъ: это былъ «побѣдный вѣнокъ, вѣстывавшій на блѣдномъ предсмертномъ челѣ юноши».

Совершенно другое—кружокъ Герцена. Здѣсь на первомъ планѣ «вопросы жизненные и чисто практическіе», здѣсь С.-Симонъ вмѣсто Гофмана, Новое Евангеліе, религія человѣчества, здѣсь политическое и нравственное мышленіе преобладаетъ надъ мышленіемъ религіозно-эстетическимъ, Шиллеръ и Гёте пользуются громаднымъ уваже-

ніемъ, но героями являются не литераторы и художники, а декабристы и люди науки; крѣпостное право поставлено на судъ передъ лицомъ сень-симонизма.

Какъ въ этотъ періодъ, такъ и послѣ, С.-Симонъ являлся для Герцена духовнымъ вождемъ и подъ его-то влияніемъ складывается міросозерцаніе будущаго автора «Съ того берега». Герценъ зачитывался «Параболой» — этой странной книгой, полной парадоксовъ, несообразностей и виѣстъ съ тѣмъ несомнѣнной глубины и своеобразной практичности. То, что мы называемъ экономическимъ матеріализмомъ, ведетъ свое происхожденіе въ сущности отсюда. Сень-Симонъ первый провозгласилъ, что наука и промышленность, трудъ и знаніе, а не что нибудь другое, являются основами современности, что они питаютъ общественную жизнь, опредѣляютъ ея богатство и бѣдность, счастье и несчастье отдѣльныхъ людей. Къ наукѣ онъ относился съ чисто религіознымъ уваженіемъ: онъ ставитъ Ньютона выше пророковъ, «Principia» — выше Библии. Онъ требовалъ, чтобы государство обезпечивало ученыхъ и дало имъ ту власть, то значеніе, которымъ пользуются государи и министры. Праздникъ въ честь Ньютона долженъ былъ сдѣлаться праздникомъ всего человѣчества. Прибавьте къ этому рѣзкія выходки противъ аристократіи и духовенства, требованіе, чтобы жизнь служила полезному, а не мистическому, чтобы всякій пользовался уваженіемъ и занималъ мѣсто сообразно своимъ дѣламъ и заслугамъ передъ обществомъ, — прибавьте рѣзкій языкъ, раздраженную фантазію, неподдѣльную ненависть, тонъ пророка, иронію искренней злобы, и вы поймете, почему горячій, буруеваемый жаждой дѣятельности Герценъ такъ увлекся сень-симонизмомъ, несмотря на его парадоксы и очевидныя несообразности. «Есть, говоритъ онъ самъ, границы, за которыя человѣкъ переступить не можетъ, — это границы фізіологическія». И если кто хочетъ понять, что заставило Герцена такъ рано заинтересоваться политикой, тотъ долженъ прежде всего изучить его темпераментъ — эту фізіологическую границу всей его дѣятельности.

Такъ рядомъ, но въ нѣкоторомъ духовномъ отдаленіи другъ отъ друга, существовали различные кружки.

Велика была ихъ роль въ свое время.

«Можно сказать, что въ то время Россія будущаго существовала между нѣсколькими мальчиками, только что выпешшими изъ дѣтства. Въ нихъ было наслѣдіе общечеловѣческой науки.

«Это были зародыши исторіи, незамѣтные, какъ зародыши вообще, слабые, ничтожныя, ничѣмъ не поддерживаемые, они легко могли бы погибнуть безъ слѣда, но они остаются, а если и умираютъ на погостѣ, то не все умираетъ съ ними.

«Мало-по-малу зародыши развиваются, растутъ; изъ нихъ составляются группы. Близне родственныя группы собираются около своихъ средоточій, другія отталкиваютъ другъ друга. Это расчлененіе даетъ имъ ширь и возможность многосторонняго развитія; распустившіяся вѣтви соединяются,—какъ бы онѣ ни назывались, кружкомъ Станкевича, славянофиловъ, западниковъ,—главная черта ихъ глубокое чувство отчужденія отъ среды ихъ окружающей, стремленіе выйти изъ нея.

«Возраженіе, что эти кружки представляютъ явленіе исключительное, постороннее, безсвязное, что воспитаніе большей части этой молодежи было экзотическое, чужое, и что они скорѣе выражаютъ переводъ на русское французскихъ и нѣмецкихъ идей, чѣмъ чтонибудь свое,—неосновательно.

«Люди вообще трудно отрѣшаются отъ своего наслѣдственнаго склада,—физиологическій предѣлъ нельзя перейти, для этого надо исклѣчить слѣды колыбельныхъ пѣсень, родныхъ, полей, горъ, обычаевъ и всего окружающаго строя.

«Если аристократы прошлаго вѣка, пренебрегая всѣмъ русскимъ, въ самомъ дѣлѣ оставались русскими, то тѣмъ больше русскаго характера не могло утратиться у молодыхъ людей оттого, что они занимались науками по французскимъ и нѣмецкимъ книгамъ.

«Нравственный уровень общества палъ, развитіе было прервано, александровское поколѣніе заняло первое мѣсто. Мало-по-малу оно утратило дикую поэзію кутежей, барства, храбрости; они служили и выслуживались, но это были не сановники.

«Время ихъ прошло.

«Подъ этимъ большимъ свѣтомъ безучастно молчалъ большой міръ народа, для него ничто не перемѣнилось — ему было не хуже и не лучше прежняго. Его время не пришло.

«Между этой основой юности, почти дѣти, первые приподняли голову, можетъ быть не подозрѣвая, какъ это опасно; этими дѣтьми Россія частью начала приходить въ себя.

«Ихъ вниманіе остановило противорѣчіе ученія съ жизнью. Учителя, книги, университетъ говорили одно—это было понятно уму и сердцу. Отецъ съ матерью, родные и вся среда — другое, съ чѣмъ согласны власти и денежныя выгоды. Противорѣчіе воспитанія съ нравами доходило до громадныхъ размѣровъ.

«Число воспитывавшихся было мало; но и тѣ получали не то чтобы объемистое воспитаніе, а довольно общее и гуманное: оно очевидѣвалось учениковъ всякій разъ, когда принималось. А человѣка-то именно было не нужно. Приходилось или снова расчеховѣчиться—такъ толпа и дѣлала,—или приостановиться и спросить себя: «Да надобно ли непременно служить?». Для большинства наставало празд-

ное существованіе въ отставкѣ, деревенской лѣни, халата, странно-стей, картъ, вина. Для другихъ время внутренней работы. Жить въ нравственномъ разладѣ съ собой они не могли. Возбужденная мысль требовала выхода. Разрѣшеніе разныхъ вопросовъ мучило молодое поколѣніе и обуславливало распаденіе его на разные круги!»

*
* *

Я уже сказалъ, что Герпентъ и Огаревъ поступили на физико-математическій факультетъ, но ни физикой, ни математикой ихъ особенно не обременяли, въ модѣ было другое — натурфилософія, шеллингизмъ. Во главѣ профессоровъ стоялъ знаменитый тогда Павловъ. вмѣсто физики и сельскаго хозяйства онъ преподавалъ введеніе въ философію. Физикѣ было мудрено научиться на его лекціяхъ, сельскому хозяйству—невозможно; но его курсы были чрезвычайно полезны. Павловъ стоялъ въ дверяхъ физико-математическаго факультета и останавливалъ студента вопросомъ: «Ты хочешь знать природу? Но что такое природа? Что такое знать?». Это чрезвычайно важно; наша молодежь, вступающая въ университетъ, совершенно лишена философскаго приготовленія; одни семинаристы имѣютъ понятіе о философіи, зато совершенно превратное. Отвѣтомъ на эти вопросы Павловъ излагалъ ученіе Шеллинга и Окена, съ такою пластическою ясностью, которую никогда не имѣлъ ни одинъ натуръ-философъ. Если онъ не во всемъ достигъ прозрачности, то это не его вина, а вина мутнаго шеллингова ученія.

Шеллингъ и Гегель—эти герои философско-романтическаго движенія—долго, больше десяти лѣтъ, держали въ своей строгой желѣзной дисциплинѣ русскую мысль. Они перевоспитали ее и въ сущности привели къ самосознанію. Они заставили ее пересмотрѣть все то, чѣмъ она жила, во что вѣрила, къ чему стремилась: только подъ руководствомъ этихъ строгихъ суровыхъ учителей достигла она зрѣлости и вмѣсто мечтаній переходить къ изученію.

Павлову вторилъ Максимовичъ, читавшій органографію растеній, гдѣ не было органографій, но было очень много философствованія «*de omnibus rebus quibusdam que aliis*». Остальные профессора естественныхъ наукъ съ ожесточеніемъ пользовались каждымъ случаемъ съострить надъ натуръ-философіей и бросить смѣшное на преподаваніе физики. Съ своей стороны и Павловъ не оставался въ долгу и платилъ имъ съ процентами и «рекаміями». Такимъ обра-

зомъ преподаваніе на физико-математическомъ отдѣленіи было чисто полемическое. На эти полемическія лекціи студенты стекались со всѣхъ отдѣленій. «Разумѣется,—говоритъ Герценъ,—я ратовалъ подъ знаменемъ *«Idealistische Lehre»* и рѣзался съ нападавшими на него профессорами».

Этотъ полемическій и философскій элементъ и былъ тѣмъ началомъ, которое давало жизнь преподаванію на физико-математическомъ факультетѣ. Благодаря ему, все связывалось и объединялось; Шеллингъ былъ тѣмъ же цементомъ различныхъ органографій, тѣмъ же оплодотворяющимъ началомъ сухихъ лекцій, какимъ въ настоящее время является Дарвинъ. О научности же преподаванія мало заботились сами профессора, еще меньше студенты, особенно такія юныя горячія головы, какъ Герценъ.

Съ перваго же своего шага въ университетъ онъ отдался товариществу. Въ его средѣ нашелъ онъ многостороннее поприще, чтобы проявились всѣ изгибы своей души; тутъ нашелъ онъ жизнь, совершенно свойственную своему нраву, фантазіямъ и убѣжденіямъ. Вскорѣ, благодаря своему краснорѣчію, остроумію, искренности, онъ занялъ первое мѣсто въ аудиторіи естественныхъ наукъ и послѣднее въ обществѣ «естествоиспытателей», гдѣ считался не болѣе какъ *élève de société*—свѣтскимъ юношей, любителемъ просвѣщенія и признаннымъ диллетантомъ. Мало-по-малу онъ сталъ студентомъ съ вѣсомъ и шагнулъ въ ряды высшей «боевой» аристократіи аудиторіи. Занявши мѣсто въ первыхъ рядахъ, онъ съ наслажденіемъ пользовался властью, вліяніемъ и славой въ многочисленной товарищеской средѣ. Исторія съ профессоромъ Маловымъ поставила его еще выше; Герценъ отсидѣлъ недѣлю въ карцерѣ и приобрѣлъ репутацію героя. Маловъ, грубо обращавшійся съ студентами и тѣмъ вызвавшій инцидентъ, былъ окончательно посрамленъ.

Первый арестъ прошелъ очень весело. Нравы тогда были со-всѣмъ патріархальные.

«Какъ только наступала ночь,—разсказываетъ Герценъ,—Никъ и еще четверо товарищей съ помощью четвертаковъ и полтинниковъ являлись къ намъ; у кого въ карманѣ ликеръ *au quatre fruits*, у кого паштетъ, у кого рябчики, у кого подъ шинелью бутылка вина. Разумѣется, мы встрѣчали съ восторгомъ и друзей, и ихъ съѣстные знаки дружбы. Свѣчей зажигать намъ, заключеннымъ, не позволялось. Опрокинувши стулья, мы дѣлали около нихъ юргу изъ шинелей, высѣкали огонь, зажигали принесенную сальную свѣчу и ста-

вили ее подь столъ такимъ образомъ, чтобы изъ оконъ нельзя было ее видѣть, потомъ ложились на каменный полъ и начинался пиръ до поздняго вечера, тутъ, кажется, и засыпали, а ночью—опять пиръ. И такъ всѣ семь дней»...

Юность товарищества уравнивала дороги. Жизнь катилась какъ на рессорахъ. Позднѣйшія поколѣнія встрѣтили другую обстановку, другіе нравы. А въ то время, въ началѣ тридцатыхъ годовъ, характеръ Московскаго университета былъ въ значительной степени патріархальный. Начальство обращало на него не слишкомъ большое вниманіе, лекціи читались и не читались. Казарменнаго не было ничего: большинство профессоровъ говорили студентамъ «ты» и охотно вступали съ ними въ пререканія. Даже внѣшность наблюдалась плохо. Профессора и студенты по уставу носили вицъ-мундиры съ малиновыми воротниками и гербовыми пуговицами; въ торжественные дни имъ полагалась шпага и треуголка. Несмотря на несомнѣнное присутствіе карцера въ подвальномъ этажѣ, уставъ былъ мертвой буквой. Многіе студенты ходили на лекціи, въ чемъ и какъ хотѣли: на иныхъ видѣлись эксцентрическія платья, волосы чуть не до плечъ, прикрытые крошечными фуражками, едва державшимися на юныхъ головахъ. На шеяхъ пестрѣли разноцвѣтные шарфы. Въ сумерки студенты шеренгами прохаживались по Тверскому бульвару съ такимъ рѣшительнымъ, вызывающимъ видомъ, что гуляющіе давали имъ дорогу.

Кипятиться, ораторствовать, волноваться — была полная возможность, — все равно о чемъ — философій, политикѣ, литературѣ. Въ философій — Шеллингъ, въ политикѣ — декабристы, въ литературѣ — Полевой и его журналъ, Оловескій, Пушкинъ, — все это требовало обсуждения со стороны восемнадцатилѣтнихъ юношей, «несомнѣнно и очевидно» призванныхъ разрѣшить *все* вопросы и благодѣтельствовать *все* человѣчество. И шла жизнь «не быліе травное», а веселая, бойкая, энергичная, — вѣчный пиръ молодости, вѣчные восторги.

У.

Послѣ университета.

Въ іюлѣ 1833 г. Герценъ сдалъ экзаменъ на кандидата и написалъ диссертацию объ историческомъ развитіи Коперниковой системы. За диссертацию ему назначили не золотую, а серебряную медаль, такъ какъ въ ней было очень много философіи и очень мало формулъ; Герценъ обидѣлся и на актъ не пошелъ.

«Когда я,—пишетъ онъ въ это время,—по чугунной лѣстницѣ университета выходилъ кандидатомъ и съ тѣмъ вмѣстѣ изъ школы на божій свѣтъ, тогда иначе взглянулъ на все. Чувство самобытности и совершеннѣйшаго никогда не бываетъ такъ ярко, какъ въ минуту окончанія публичнаго воспитанія. Испанскіе башмаки, шнуровавшіе душу, лопаются, и фантазія гуляетъ на свободѣ. Нѣтъ болѣе ни правилъ, ни направленія извнѣ—это медовый мѣсяцъ совершеннѣйшаго. Съ чувствомъ собственного достоинства и достоинства кандидатской степени я явился домой и посвятилъ Нептуну мокрое платье, въ которомъ плавалъ три года по схоластическому болоту на ловлю идей, т. е., говоря презрѣнной прозой, подарилъ первогодичнымъ студентамъ толстыя тетради лекцій, выучившія меня стенографіи и разучившія писать удобочитаемо.»

Онъ уже любилъ въ это время, любилъ горячо, искренне, на вѣки—какъ думалъ самъ,—слишкомъ ненадолго, какъ оказалось въ дѣйствительности.

«Любовь моя была односторонняя—разсказываетъ онъ—и отчасти нятянута; тогда я этого не замѣчалъ. Чиста была эта любовь, какъ ясное майское небо, свѣтлой рѣчкой катилась она по зеленому полю надежды, только иногда волновалась, вспоминая о молодомъ человѣкѣ, бывшемъ ея женихѣ, и тѣмъ, что онъ скоро былъ забытъ. Я отыскивалъ въ своей душѣ давно забытыя страницы сантиментальности, принаряжалъ ими душу, отчасти это чувствовалъ и къ сантиментальности присоединялъ всѣ мои либеральныя мечтанія. Я говорилъ ей и говорилъ отъ души, что за осуществленіе моихъ поли-

тических убъжденій пожертвую моею любовью, пожертвую ею, и выполнѣ вѣрилъ въ истинность и неизмѣнность этихъ словъ, такъ, какъ и чувствовалъ.»

Бываютъ баловни судьбы, бываютъ люди, заставляющіе у другихъ звучать струну самоотреченія, — звучать долго, сильно, на всю жизнь. Таковъ былъ и Герценъ: онъ всегда былъ окруженъ колѣнопреклоненными—другомъ, женой, любимой женщиной. И въ этомъ колѣнопреклоненіи и другъ, и жена, и любимая женщина находили свое лучшее счастье, свою радость бытія. Ихъ муки начинались только тогда, когда ихъ жертвы становились уже ненужными и они сознавали это. Тогда ихъ жизнь теряла смыслъ и цѣль. Ихъ чувство было лишь лавровымъ листкомъ, украшавшимъ голову побѣдителя, однимъ листкомъ среди вѣнка...

Спустя много лѣтъ Герценъ, вспоминая о своей первой любви, говорилъ, что она ему мила, какъ память прогулки по берегу моря среди цвѣтовъ и пѣсень. Онъ сравнивалъ ее съ ландышемъ и спрашивалъ: «когда же ландыши зимуютъ; они должны увянуть вмѣстѣ съ весной, которая породила ихъ». Для него первая любовь была сномъ въ майскую ночь, для нея—всѣмъ. Съ разбитой жизнью она тихо догорала, отдавшись одной религіи. Когда она узнала, что онъ женатъ, ни жалобы, ни укора не вырвалось у нея; только смертная блѣдность распространилась по лицу; все горе, все страданье безмолвно замкнулось въ ея груди и навсегда. Съ той минуты она и имени его не произносила, какъ будто его и не существовало никогда. Впослѣдствіи ей не разъ дѣлали предложенія—она отказывала всѣмъ. Она осталась вѣрна воспоминанію и чувству и не хотѣла убирать свѣжими цвѣтами свое увядшее сердце...

Тяжелыя событія отвратили Герцена отъ одного чувства и породили новое—болѣе мощное, охватывающее. Въ 1834 году Огаревъ былъ арестованъ, обвиненный въ сношеніяхъ съ кружкомъ молодыхъ кутилъ, пѣвшихъ въ недобрый часъ противоправительственные пѣсни. Герценъ метался по городу, добывая свиданія съ другомъ и самъ ожидая ареста. Арестъ не заставилъ себя долго ждать, но сначала случилась встрѣча, опредѣлившая цѣлую полосу въ его развитіи...

19-го іюля вся Москва ѣхала на скачки и гулянье, на Ходынское поле. Отправился туда и Герценъ, чтобы какъ нибудь убить время. Насколько занимали его скачки—понять легко. Онъ стоялъ

одинок и смотрѣлъ на толпу, сѣвшую какъ туча саранчи на поле, на кареты, которыя двигались между саранчей, и былъ очень грустенъ. Встрѣчавшіеся знакомые заговаривали съ нимъ о скакунахъ и, видя, что онъ разстроенъ, отходили. Онъ молилъ Бога ни съ кѣмъ не встрѣтиться и вдругъ увидѣлъ въ каретѣ свою двоюродную сестру—Наталию Александровну. Она подозвала его и стала разговаривать въ первый разъ послѣ многихъ лѣтъ знакомства.

«Я прежде судилъ о ней,—говаривалъ въслѣдствіи Герценъ,—не понимая ея; огромное разстояніе дѣлило меня, студента-карбонара, отъ нея, религіозной, а между тѣмъ мы шли безсознательно къ одному и тому же міру, только съ разныхъ сторонъ. Религія чувствомъ поднимаетъ до созерцанія тѣхъ истинъ, до которыхъ разумъ доходитъ труднымъ путемъ,—сверхъ того она вкладетъ печать божественности на чело и не допускаетъ короткости. Наташа мало знала свѣтъ и высшей цѣлью ставила стѣны монастыря, чтобы, какъ стихъ псалма, какъ аккордъ ораторіи, горячей молитвой вознестись на небо.»

«Я не могъ исполнѣ оцѣнить ее прежде, — продолжалъ онъ, — увлеченный, разсѣянный страстями, друзьями, науками, планами, оргіями, влюбленный. Въ этотъ же день душа, взволнованная несчастьемъ, взглянула другимъ взглядомъ—взглядомъ магнетизма.»

Скачки кончились. Они шли пѣшкомъ къ кладбищу. Первое, что открылось, былъ позлащенный шпигъ высокой колокольни приходской церкви Николая. Переполненная душа Герцена вылилась *черствамъ словомъ*.

— И эта колокольня ничего не говоритъ больше вашему сердцу? посмотрите, куда она указываетъ,—сказала Наташа,—тамъ утѣшатся всѣ скорби!

— Тамъ,—отвѣчалъ Герценъ,—а здѣсь имѣть душу, полную силъ, желаній добра, и быть не въ состояніи что-нибудь выполнить!

— Развѣ въ этомъ его вина. Отъ этого душа его не менѣе передъ Богомъ. Кто живетъ въ Богѣ, того сковать нельзя, сказалъ великій страдалецъ, снесшій голову на плаху—апостолъ Павелъ.

Въ другое время Герценъ улыбнулся бы, а тутъ онъ не улыбнулся, однако возразилъ:

— Вы все ссылаетесь на тотъ свѣтъ, а здѣсь мой другъ, за любовь къ людямъ, гибнетъ неоцѣненный, неузнанный. Апостолъ Павелъ снесъ голову на плаху тогда, когда обратилъ цѣлыя страны въ вѣру Христа.

— Неужели вы это говорите о рукоплесканіяхъ? Сейчасъ мы

видѣли, какъ ихъ расточаютъ лошадямъ. Одни поденщики требуютъ награды.

Разговоръ скоро оборвался на полусловѣ, а новыя мысли, новыя чувства закипѣли и заводновались въ душѣ. Странно, но вѣрно, что иногда бываетъ достаточно одного ничтожнаго повидимому толчка, чтобы вызвать на поверхность души таящіяся въ ней, неизвѣстныя самому человѣку чувства. Герценъ слышалъ давно забытое имъ слово: «молитесь»,—услышалъ отъ молодой, но серьезной не по лѣтамъ дѣвушки, много вынесшей на своемъ юномъ вѣку. Душа запросила вѣры; одиночество тюрьмы, скука ссылки закрѣпили ее. вмѣстѣ съ вѣрой пришла и любовь...

* *
*

Герцена арестовали въ ночь на 20-е іюля. Отецъ съ дрожащей нижней челюстью благословилъ сына на трудное испытаніе. 10 мѣсяцевъ длилось слѣдствіе, а значить и одиночное заключеніе. Однообразныя унылыя впечатлѣнія каземата дѣлали напряженной внутреннюю жизнь. Крошечное сѣмя, заброшенное въ душу на кладбищѣ и унесенное, быть можетъ, на свободѣ вихремъ занятій, развлеченій, пустило ростки, зазеленѣло сначала, расцвѣло потомъ...

За что арестовали Герцена? Это скучная исторія. Огаревъ былъ арестованъ за знакомство съ пріятелемъ Соколовскаго, Соколовскій—за то, что сочинилъ вольную пѣсню, Герценъ—за дружбу съ Огаревымъ. Пѣсня была, разумѣется, только предлогомъ. Настоящей причиной были опасенія, которыя возбуждалъ кружокъ своими слишкомъ громкими и страстными рѣчами. Вѣдь кружокъ не распадался и послѣ университета: онъ шумѣлъ и кипѣлъ попрежнему...

Вплоть до апрѣля Герценъ просидѣлъ въ крутицкихъ казармахъ. Онъ мечталъ и любилъ, любовь и юность разукрасили самый казематъ.

«Однажды—разсказываетъ онъ—часовъ въ 8 вечера навѣстилъ меня нѣкогда бывшій мой законоучитель—отецъ Василій; онъ уже не одинъ разъ былъ у меня, и бесѣда его всякій разъ оставляла въ душѣ свѣтлый слѣдъ. Я обнялъ почтеннаго пастыря. Когда онъ давалъ мнѣ уроки, я не умѣлъ оцѣнить вполнѣ этого человѣка, съ его восторженной, чистой душой. Что то безпредѣльно торжественное было въ бесѣдѣ нашей: плавнымъ, величественнымъ маестово закончилась она: благословеніе пастыря, объятія друга напутствовали меня. Въ эти минуты я былъ достоинъ принять высокія впечатлѣ-

ніа. Возбужденная душа раскрывалась всему святому. Взоръ мой покоился на двери, въ которую вышелъ священникъ.

«Дверь снова отворилась. Видали ли вы на образахъ явленіе дѣвы Маріи, въ какой нибудь бѣдной кельѣ, изнеможенному старцу монаху, во всемъ блескѣ просвѣтленнаго образа человѣческаго, въ которомъ плоти едва осталось очертаніе, а духъ божественности просвѣчиваетъ въ своей безтѣлесности? видали ль взоръ любви и кротости, обращенный на поверженнаго въ прахъ угодника? и его взоръ, свѣтащійся восторгомъ и благоговѣйнымъ трепетомъ? Я былъ тотъ, которому явилась Дѣва... молча протянула она мнѣ руку, а быстро схватила ее...

... Не такъ ли умираетъ человѣкъ? Посланныкъ божій, свѣтлый, улыбающійся, подойдетъ къ страдальцу, протянетъ руку, и тѣло мертво, а душа родилась въ царство духа и свободы. Какъ ясно стало въ душѣ моей, когда я держалъ ея руку; казалось, не о чемъ было и говорить, а когда стали говорить, говорили такъ, ничтожныя вещи. Разлука укрѣпила нашу симпатію, дала возможность придти въ себя, въ сознаніе, превратиться въ сущность жизни, въ самую жизнь. Только тогда пало нѣсколько словъ, которыя несутъ въ зародышѣ міръ чувствованій, мыслей, дѣлъ. «Братъ,—сказала она прощаясь,—въ дальнемъ краѣ помни, что твоя память о ней ей такъ необходима, какъ жизнь». Мы простились. Время опустило мечъ свой.»

Герценъ какъ и прежде оставался съ глазу на глазъ съ своимъ сторожемъ Терентьичемъ, отставнымъ солдатомъ. Но день свободы былъ уже близокъ—по крайней мѣрѣ той свободы, которую можетъ дать ссылка. Ссылка грозила неминуемо, Герценъ это зналъ, но не сдѣлалъ ничего, чтобы предотвратить ее. На допросахъ онъ держалъ себя гордо и независимо и произвелъ на своихъ судей впечатлѣніе нераскаяннаго грѣшника. За это-то главнымъ образомъ онъ и долженъ былъ отправиться въ Пермь.

Настало 10-е апрѣля. Въ жизни Герцена это былъ день, создающій собой эпоху. Всей его важности онъ и самъ не понималъ сначала. Молодость, вѣра въ себя и свои силы разукрасили ожидавшуюся ссылку, и онъ думалъ, что легко перенесетъ ее. А между тѣмъ не было бы ссылки — не было бы вѣроятно и эмиграція и страшнаго душевнаго раскола, который эмиграція принесла за собой. Ссылка обидѣла Герцена. Его гордая, независимая душа возмущалась той безцеремонностью, съ которой посягали на его личность. Покорности и смиренія не было въ его натурѣ. Онъ не умѣлъ, какъ Витбергъ, какъ Достоевскій, всосать въ себя обиду и находить своеобразное наслажденіе въ самыхъ страданіяхъ. Онъ считалъ, что съ нимъ поступили несправедливо, и его характеръ

требовалъ мести. Изъ мальчика-либерала онъ, благодаря постоянному *специальному* вниманію къ себѣ, сдѣлался непримиримымъ врагомъ всего, что давить человѣческую личность, что накладываетъ на нее какіе-бы то ни было кандалы и путы. О ссылкѣ всю свою жизнь онъ говорилъ съ ненавистью, со злобой, иногда просто со злостью, — со злостью силы, которая видитъ, что не можетъ отомстить такъ, какъ желаетъ, и должна удовлетвориться лишь стрѣлами ироніи, не долетавшими даже до цѣли.

Это чувство личной неприкосновенности, доводимое порою даже до крайности, до «нигилизма», какъ выражается Страховъ, до ненависти ко всякому гнету, до отрицанія всякаго подчиненія, — очень характерно. Оно какъ нельзя лучше оправдываетъ не разъ дававшійся ему эпитетъ европейца, такъ какъ табуннаго, массоваго начала — того т. е., которое многіе считаютъ сущностью славянской натуры, въ немъ не было почти и слѣда.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ ссылка, какъ бы ничтожны и пошлы ни были ея впечатлѣнія, значительно приблизила его къ землѣ, къ дѣйствительности, сведя съ высоты школьнаго идеализма, питавшагося Шиллеромъ.

Настало, повторяю, 10-е апрѣля. Нѣсколько часовъ утра прошли въ утомительныхъ и скучныхъ формальностяхъ.

«Наконецъ, — пишетъ Герценъ, — я въ коляскѣ, за заставой.

Не было силъ еще разъ взглянуть на Москву — да и Богъ съ ней. Колокольчику отвязали язычекъ — мы ѣдемъ. Вдругъ провожатый, спокойно курившій трубку, привсталъ на козлахъ, снялъ фуражку и сталъ креститься, говоря моему камердинеру: «креститесь, почему знать, увидимъ-ли Кремль и Ивана Великаго». Фу! я бросилъ извозчику четвертакъ, чтобы онъ поскорѣ ѣхалъ, и ямщикъ поскакалъ: вѣтеръ — буря! На другой день я съ любопытствомъ смотрѣлъ на губернской городъ. Воспитанный во всѣхъ предразсудкахъ столицы, я былъ увѣренъ, что за сто верстъ отъ Москвы и отъ Петербурга Варварійскія стѣны, Несторово Лукоморье, и — крайне удивился, что губернской городъ похожъ на дальній кварталъ Москвы.»

Нѣсколько дней быстрой ѣзды по весеннему скользкому снѣгу, нѣсколько дорожныхъ приключеній при переправахъ черезъ рѣку, двѣ-три остановки въ губернскихъ городахъ, — и подъ свинцовымъ нависшимъ небомъ Герценъ увидѣлъ какъ бы въ беспорядкѣ наброшенную кучу деревянныхъ построекъ по берегу широкой, могучей рѣки. Это была Пермь. Здѣсь слѣдовало остановиться, на долго, какъ предполагалось, и всего на двадцать дней въ дѣйстви-

тельности. Герцена отправили из Перми в Вятку, так как другой сильный просился на его место. Пермь или Вятка? что лучше или что хуже? Выбор был безразличен...

«В Перми,—вспоминает он,—я не успел оглядеться; там только хозяйка дома, в который я пришел нанять квартиру, спрашивала меня, нужен-ли мне огород и держу-ли корову,—вопрос, по которому я с ужасом вымучил мое падение с академических высот студенческой жизни. Пермь была для меня *ad lectiorem*, настоящий текст в Вятке... Не думая, не гадая, я ухал из Перми дней через двадцать, и через пять с половиною суток вылая волна Вятки подвигала мой досчанник к крутому берегу, на котором краснелось длинное желтое неуклюжее здание губернского правления. Опять *fatum*! А я грустно поднимался к Вятке, душа предчувствовала много ударов, падений, грязи, мелочей, пыли—это было в 1835 г. 20-го мая, вечером»...

Очень мало опытный в жизни и брошенный в мир, совершенно ему чуждый после девятилетней тюрьмы, он жил сначала разбоянно, без оглядки; новый край, новая обстановка рвали перед глазами. Его общественное положение сильно изменилось. В Перми, в Вятке на него смотрели совершенно иначе, чем в Москве: там он был молодым человеком, жившим в родительском доме; здесь, в провинциальном болоте, он стал на свои ноги, был принимаем за чиновника и жениха, хотя ни к одному из этих «ремесл» не питал ни малейшей склонности. Не трудно было ему догадаться, что без большого труда он мог играть роль светского человека в заводских и заводских гостиницах и быть львом в вятском обществе... Только зачем все это?

«В силу кокетливой страсти *de l'approbativité*, — признается он,—я старался нравиться направо и налево, без разбора кому, натягивал симпатии, дружил по десяти словам, сближался больше, чем нужно, сознавал свою ошибку через месяц или два, молчал из деликатности и таскал скучную цѣль неистинных отношений до тех пор, пока она не обрывалась бессмысленной ссорой, в которой меня же обвиняли в капризной нетерпимости, в неблагодарности, непостоянстве»...

Первое время он жил не один. Вместе с ним отец отправил Карла Ивановича Зонненберга, — того самого, который когда-то провожал его на первую лекцию. Карл Иванович немедленно же по приезде принялся за дело, т. е. за покушку ненужных вещей, всякого хлама, всякой посуды, кастрюль, чашек,

хрустало, запасовъ и даже лошади. Когда въ Перми все было готово и монтировано на барскую ногу—Герцена перевели въ Вятку. Здѣсь Зонненбергъ проявилъ еще большую ревность.

«Въ Вяткѣ онъ уже купилъ не одну, а трехъ лошадей, изъ которыхъ одна принадлежала ему самому, хотя тоже была куплена на деньги моего отца. Лошади эти подняли насъ чрезвычайно въ глазахъ вятскаго общества.»

Новая любовь и новая дружба скоро позолотили ссылку, но ненадолго и къ тому же робкими, мимолетными сѣверными лучами. Новая могила явилась и въ сердцѣ Герцена. Онъ поступилъ жестоко, по-юношески. Что дѣлать? Жестока юность. Это боевой періодъ жизни, который переживаетъ не только отдѣльный человѣкъ, но и цѣлые народы. И они, ощущая въ себѣ присутствіе невѣдомой и неиспытанной еще силы, чувствуя, какъ кипитъ и волнуется кровь, идутъ нестройными одушевленными ватагами искать приключеній, завоеваній, побѣдъ. Игра жизнью, игра силой прельщаетъ ихъ, и сколько разрушенныхъ городовъ, опрокинутыхъ государствъ, сколько пирамидъ изъ вражескихъ череповъ оставили эти юные народы послѣ своего побѣдоноснаго шествія, пока не вошли наконецъ въ колею сѣренькаго, разсчитливаго существованія. Такъ и человѣкъ, если онъ добръ, юнъ, самоувѣренъ—ему нужны побѣды, онъ ищетъ ихъ, онъ не привыкъ еще смиряться, самая любовь влечетъ его къ себѣ, потому что онъ ищетъ кого бы подчинить себѣ, надъ кѣмъ бы властвовать. И у кого отъ дней юности не осталось тяжелыхъ воспоминаній, мучительныхъ сожалѣній объ «увядшихъ весеннихъ цвѣтахъ», о привязанностяхъ, принесенныхъ въ жертву этой страстной деспотической жаждѣ властвовать, заставлять другихъ служить себѣ? Но къ разсказу.

Герценъ и нѣкая г-жа Р. скоро увидѣлись. Р., какъ истинная героиня романа, была очень несчастна и, обманывая себя мнимымъ спокойствіемъ, томилась и исходила въ какой-то праздности сердца. Она не любила мужа и не могла любить его: ей было лѣтъ двадцать пять, ему—за пятьдесятъ,—съ этимъ можетъ быть она бы сладила,—но различіе образованія, интересовъ, характеровъ было слишкомъ рѣзко... Мужъ почти не выходилъ изъ комнаты; это былъ сухой, черствый старикъ, чиновникъ съ притязаніемъ на помѣщичество, раздражительный, какъ всѣ больные и какъ всѣ люди, потерявшіе состояніе...

Къ чему привело знакомство—угадать не трудно.

«Съ мѣсяцъ, — рассказываетъ Герценъ, — продолжался запой любви; потомъ будто сердце устало, истощилось,—на меня стали находить минуты тоски; я ихъ тщательно скрывалъ, старался имъ не вѣрить, удивлялся тому, что происходило во мнѣ, а любовь styla себя, да styla.

«Меня стало тѣснить присутствіе старика, мнѣ было съ нимъ неловко, противно. Не то, чтобы я чувствовалъ себя неправымъ передъ гражданскимъ собственникомъ жены, которая его не могла любить и которую онъ любить былъ не въ силахъ, но моя двойная роль казалась мнѣ унижительной; лицемеріе и двоедушіе—два преступленія, наиболѣе чуждыя мнѣ. Пока распахнувшаяся страсть брала верхъ, я не думалъ ни о чемъ, но когда она стала нѣсколько холодитъ, явилось раздумье...»

Старикъ Р. скоро умеръ.

«Печаль жены улеглась мало-по-малу, она тверже смотрѣла на свое положеніе; потомъ мало-по-малу и другія мысли прояснили ея озабоченное и унылое лицо. Ея взоръ останавливался съ какой-то взыскующей пытливостью на мнѣ, будто она ждала чего-то, вопроса и отвѣта. Я молчалъ, и она, испуганная, встревоженная, стала сомнѣваться. Тутъ я понялъ, что мужъ въ сущности былъ для меня извиненіемъ въ своихъ глазахъ—любовь откинула во мнѣ. Я не былъ равнодушенъ къ ней, далеко нѣтъ, — но это было не то, чего ей надобно было. Меня занималъ теперь другой порядокъ мыслей, и этотъ страстный порывъ словно для того обнажалъ меня, чтобы уяснить мнѣ самому *иное* чувство. Одно могу сказать я въ свое оправданіе—я былъ искрененъ въ своемъ увлеченіи...»

Мы вправдѣ остановиться передъ такими коллизіями жизни и поставить ихъ передъ судомъ своей совѣсти, но совѣсть наша не съумѣетъ высказаться съ полной опредѣленностью; ея приговоръ расплывается въ томительномъ раздумьи. Два порядка мыслей, чувствъ, настроеній вотъ уже тысячелѣтіе борются въ душѣ цивилизованнаго человѣка. Одинъ подсказываетъ ему его право на все, говоритъ ему о законныхъ наслажденіяхъ, оправдываетъ страсть, хотя бы она заканчивалась жертвой; другой — требуетъ самоотреченія и лишь въ торжествѣ воли надъ искушеніемъ видитъ торжество истины. Мы колеблемся между двумя смутными идеалами. Юность служить первому, а это служеніе оставляетъ на душѣ горькій осадокъ.

«Зачѣмъ»,—спрашиваетъ Герценъ,—она встрѣтилась именно со мной, неустоявшимся тогда? Она могла быть счастливой, она была достойна счастья. Печальное прошедшее ушло въ могилу, новая жизнь любви, гармонія была такъ возможна для нея. Бѣдная, бѣдная Р.!

Виновать ли я, что это облако любви, такъ непреодолимо набѣжавшее на меня, дохнуло такъ горячо, опьянило, увлекло и разнеслось потомъ?»

Разрывъ былъ неминуемъ, неизбеженъ, и какое величіе души проявила въ немъ несчастная женщина, вся жизнь которой ушла на жертву лжи и иллюзіи. Герценъ наконецъ признался ей во всемъ. Полудожь, которую онъ дилъ цѣлые мѣсяцы, стала невыносимой. Онъ сказалъ, что его любви не осталось и слѣда. На другой день ему подали отвѣтъ отъ Р. Она благословляла его на новую жизнь, желала счастья, называла Natalie сестрой и протягивала руку на забвеніе прошедшаго и на будущую дружбу—какъ будто она была виновата!...

* *
*

«Порывъ любви къ Р.—писалъ впоследствии Герценъ—уяснилъ мнѣ мое собственное сердце, раскрылъ его тайну»...

Увлекаясь все больше и больше своей симпатіей къ отсутствующей кузинѣ, онъ однако не давалъ себѣ отчета въ чувствѣ, связывавшемъ его съ ней. Онъ привыкъ къ нему и не слѣдилъ, измѣнилось ли оно, или нѣтъ. А любовь росла. Имя «сестра» начинало стѣснять его. Теперь ему не достаточно уже было дружбы; это тихое чувство казалось холоднымъ. Каждое новое письмо, полученное изъ Москвы, только горячило страсть. Любовь «сестры» была видна изъ каждой строчки ея писемъ, но «мнѣ, — говоритъ Герценъ, — ужъ и этого было мало, мнѣ нужна была не только любовь, но и самое слово». Онъ писалъ въ это время: «Я сдѣлаю тебѣ странный вопросъ, вѣришь ли ты, что чувство, которое питаешь ко мнѣ, — одна дружба? Вѣришь ли ты, что чувство, которое я имѣю къ тебѣ, — одна дружба? *Я не вѣрю*».

Переписка съ этой минуты стала проще, искреннѣе: влюбленные договорились. Теперь мы знаемъ эту переписку почти полностью, и странно было слышать жалобы, что она скучна, длинна, мелочна: это одинъ изъ тѣхъ немногихъ невыдуманныхъ и неприкрашенныхъ документовъ жизни, которые позволяютъ намъ заглянуть глубоко-глубоко въ чистую женскую душу, отсюда, то въ формѣ наивнаго дѣтскаго лепета, то истиннаго лиризма, изливается свѣтлый источникъ лучшаго женскаго чувства—материнства. Неужели мы уже настолько сухи и черствы, что не можемъ проникнуться прелестью даже этого?

Согласенъ, что письма Герцена хуже. Въ нихъ рядомъ съ истиннымъ чувствомъ — ломанныя выраженія, изысканныя, эффектные слова, явное вліяніе школы Гюго и французскихъ романтиковъ. Ничего подобнаго въ ея письмахъ: слогъ ея простъ, поэтиченъ, истиненъ, на немъ замѣтно одно вліяніе, вліяніе Евангелія.

Роль этой переписки, не замолкавшей ни на минуту цѣлые годы, — громадна. Она продолжила собою то, что началось еще при встрѣчѣ на кладбищѣ: она учила молитвѣ. «Natalie, — говоритъ впоследствии Герценъ, — едва указала мнѣ Бога, и я сталъ вѣровать», — и вѣровалъ долго подъ чистымъ вліяніемъ своей невѣсты.

Когда онъ признался въ любви, она отвѣчала: «ты что-то смущенъ, я знала, что твое письмо испугало тебя больше, чѣмъ меня. Успокойся, другъ мой, оно не перемѣнило во мнѣ рѣшительно ничего, оно уже не могло заставить меня любить тебя ни больше, ни меньше».

Спокойствіемъ, убѣжденностью, серьезностью вѣрующаго проникнуто каждое ея слово. И повторяю: за признаніями влюбленной дѣвушки вы постоянно слышите голосъ любящей матери. Любовь наполняетъ ея сердце, и она отдается своему чувству безъ малѣйшаго жеманства, безъ колебаній. Ей такъ привольно любить и знать, что она любима, какъ привольно дышать свѣжимъ воздухомъ въ широкой безконечной степи.

«Можетъ ты сидишь теперь, — пишетъ она, — въ кабинетѣ, не пишешь, не читаешь, а задумчиво куришь сигару и взоръ твой углубленъ въ неопредѣленную даль, и нѣтъ отвѣта на привѣтствіе взошедшаго. Гдѣ же твои думы? Куда стремится взоръ? Не давай отвѣта... Пусть придутъ ко мнѣ.

«Будемъ дѣтьми, назначимъ часъ, въ который намъ обоимъ непремѣнно быть на воздухѣ, — часъ, въ который мы будемъ увѣрены, что насъ ничего не дѣлаетъ кромѣ одной дали. Въ восемь часовъ вчера и тебѣ вѣрно свободно? А то я давеча вышла было на крыльцо — да тотчасъ возвратилась, думая, что ты вѣрно въ комнатѣ.

«Глядя на твои письма, на портретъ, думая о моихъ письмахъ, о браслетѣ, мнѣ захотѣлось перешагнуть лѣтъ за сто и посмотреть, какая будетъ ихъ участь? Вещи, которые были для насъ святыней, которые лѣчили наше тѣло и душу, съ которыми бесѣдовали и которыми намъ замѣняли нѣсколько другъ друга въ разлукѣ; всѣ эти орудія, которыми мы оборонялись отъ людей, отъ рока, отъ самихъ себя, что будутъ они послѣ насъ? Останется ли въ нихъ сила ихъ или душа? Разбудятъ ли они, согрѣютъ ли чье сердце? Расскажутъ ли наши страданія, нашу повѣсть, нашу любовь? будетъ-ли имъ въ на-

граду хоть одна слеза? Какъ грустно становится, когда воображу, что портретъ твой наконецъ будетъ висѣть безвѣстнымъ въ чьемъ нибудь кабинетѣ, или, можетъ быть, какой нибудь ребенокъ, играя имъ, разобьетъ стекло и сотретъ черты.»

Трогательно эта ревность любви къ всеразрушающему времени, это опасеніе передъ тѣмъ, какъ бы вѣчность не уничтожила и послѣднихъ слѣдовъ чувства...

Любовь питалась не только разлукой, но и, какъ это часто бываетъ, противодѣйствіемъ окружающихъ. Старшіе и съ той, и съ другой стороны были противъ брака. Наталью Александровну хотѣли даже насильно выдать замужъ. Въ тѣхъ же письмахъ она рассказала о пережитыхъ ею мукахъ. Переписка ея съ Герценомъ, долго скрываемая отъ княгини, у которой въ качествѣ сироты и воспитанницы жила она, была наконецъ открыта. Княгиня взбунтовалась и строжайше запретила людямъ и горничнымъ доставлять письма молодой дѣвушкѣ и отправлять ея письма на почту. Въ виду же окончательнаго прекращенія всякой глупости, рѣшено было виновную выдать замужъ. Наталья Александровна, разумѣется, рѣшительно заявила, что не приметъ ничьего предложенія.

Тогда началось непрерывное, оскорбительное, лишенное пощады и всякой деликатности гоненіе; гоненіе ежеминутное, мелкое, цѣпляющееся за каждый шагъ, за каждое слово.

«Представь себѣ,—писала въ это время Н. А.,—дурную погоду, страшную стужу, вѣтеръ, дождь, пасмурное какое-то безъ выраженія небо, прегадкую маленькую комнату, изъ которой кажется сейчасъ вынесли покойника, а тутъ эти *дети* безъ цѣли, даже безъ удовольствія шумятъ, кричатъ, ломаютъ и мараютъ все близкое, да хорошо бы еще, еслибы только можно было глядѣть на этихъ *детей*, а когда заставляютъ быть въ ихъ средѣ!... У насъ сидятъ три старухи и всѣ три рассказываютъ, какъ ихъ покойники были въ параличѣ, какъ онѣ за ними ходили,—а и безъ того холодно?..»

Началось систематическое гоненіе, и не только со стороны княгини, но и жалкихъ старухъ-приживалокъ, мучившихъ непрерывно дѣвушку, уговаривая ее идти замужъ и браня Герцена; большей частью она умалчивала въ письмахъ о рядѣ неспрiятностей, выносимыхъ ею, но иной разъ горечь, униженіе и скука брали верхъ.

«Не знаю,—пишетъ она,—можно ли выдумать еще что нибудь къ моему угнетенію, неужели у нихъ станетъ настолько ума! Знаешь ли ты, что даже выходъ въ другую комнату мнѣ запрещенъ, даже персиана мѣста въ той же комнатѣ... Я давно не играла на фор-

тепьяно, подали огонь, иду въ залу, авось либо смирлосердятся; нѣтъ, воротили—заставили вязать... Непремѣнно сядь тутъ, рядомъ съ попадѣй, слушай, смотри, говори, а онѣ только говорятъ о Филаретѣ, да пересушиваютъ тебя... На минуту мнѣ стало досадно, я покраснѣла, и вдругъ тяжелое чувство грусти сдавило грудь, но не оттого, что я должна быть ихъ рабой, нѣтъ, мнѣ смертельно стало жалъ ихъ»...

Женихъ отыскался скоро и дѣло дошло до формальнаго сватовства.

«Что я вытерпѣла сегодня,—жалуется Н. А. въ письмѣ отъ 26 октября 1837 г.,—ты не можешь себѣ этого и представить. Меня нарядили и повезли къ С. Тутъ былъ онъ»...

* *
*

Легко себѣ представить, какъ рвался Герценъ изъ Вятки. Онъ писалъ, утѣшалъ, самъ приходилъ въ отчаяніе, но дѣлать было нечего: надо ждать и терпѣть. Къ Вяткѣ почти ничто не привязывало его; онъ былъ чужимъ въ этомъ обществѣ, состоявшемъ почти исключительно изъ чиновниковъ разныхъ вѣдомствъ. Служба была ему прямо противна, и хорошо еще, что губернаторъ, «снисходя» къ его образованію и развитію, поручилъ ему кое-какія статистическія работы.

Этимъ губернаторомъ былъ знаменитый Тюфяевъ. Вотъ типъ, которымъ смѣло могла бы гордиться дореформенная административная Россія. Въ Тюфяевѣ воплотилась вся необузданность произвола, вся грубость власти, все безмѣрное презрѣніе къ личности, которыя характеризуютъ старое доброе время. Онъ вышелъ изъ ничтожества. Разными темными таинственными дѣлами онъ достигъ губернаторства. Цѣлый громадный край былъ теперь въ его рукахъ, край мрачный, забытый и придушенный самою природой. Тюфяевъ сдѣлалъ его еще болѣе мрачнымъ, еще болѣе забилъ и придушилъ его. Въ немъ былъ характерный для того времени какой-то дикій разгулъ деспотизма, какой-то карнавалъ властолюбія. Разумѣется, все передъ нимъ дрожало, преклонялось, холопствовало. Чиновники подавали ему калоши и отдавали ему женъ на поддержаніе. Обыватели прятались куда попало при его проѣздѣ черезъ городскія улицы. Это былъ настоящій сатрапъ-аракчеевецъ, все гнувшій въ дугу, на все налагавшій свою тяжелую руку. И вотъ идеали-

стически настроенному, полному утопических стремлений юности, европейски-образованному Герцену пришлось войти въ непосредственные отношенія съ этимъ человѣкомъ другого міра, этимъ порожденіемъ предательства и сластолюбія, разгульнаго произвола и дикой жестокости, и даже находиться у него въ подчиненіи. Герценъ, въ которомъ чувство личности и собственного достоинства заполняли все остальное, который не соглашался отдать человѣческую личность въ службу чему-бы то ни было, — Герценъ, этотъ аристократъ ума, органически ненавидящій все пошлое, мѣщанское, грубое и ставившій на первое мѣсто чувство «чести», — долженъ былъ «хоть какъ нибудь» да ладить съ Тюфяевымъ, хотя «не возражать» на его дикія выходки. Сколько горечи, обиды должно было накопиться въ сердцѣ, сколько мрачныхъ, тоскливыхъ мыслей накопиться въ головѣ. Грубое топтаніе человѣческой личности мучило до невыносимой боли, а между тѣмъ на рукахъ были путы и нечего было дѣлать, ибо не только дѣло, но и слово протеста было бы государственной измѣной. Затаивъ въ душѣ все, что кипѣло въ ней, Герценъ съ удивительнымъ тактомъ своей аристократической натуры сѣумѣлъ все же въ концѣ концовъ отстоять свою самостоятельность. Онъ не поддался Тюфяеву, и тотъ наконецъ «снизшелъ къ его образованію».

Это было хорошо. Но продолжало томить одиночество. Человѣка, съ которымъ можно было бы поговорить по душѣ, онъ долго не могъ найти. Но въ этомъ отношеніи судьба скоро улыбнулась ему.

Въ то время въ Вяткѣ, одинаково въ ссылкѣ, по обвиненію въ растратѣ казеннаго имущества, жилъ знаменитый архитекторъ Александръ Лаврентьевичъ Витбергъ, чей неосуществленный проектъ храма Христа Спасителя въ Москвѣ является и до сей поры однимъ изъ самыхъ драгоценныхъ памятниковъ русскаго искусства. Витбергъ былъ натурой религіозной, мистической; его вліяніе на Герцена было то же, какъ и Натальи Александровны.

Изгнанники скоро сошлись и подружались. Витбергъ былъ значительно старше и лѣтами, и опытомъ, но это не помѣшало сближенію. Семейство Витберга еще не пріѣзжало въ Вятку, и онъ поселился въ одномъ домѣ съ Герценомъ. Зонненбергъ уже укатилъ на ирбитскую ярмарку, и друзья вдвоемъ устроили какую-то артистическую жизнь. Что-то строгое, монастырское царило въ ихъ комнатахъ. Цѣлые дни они проводили въ оживленныхъ, нескончаемыхъ

бесѣдахъ, часто вечерами засиживались до глубокой ночи, повѣряя другъ другу свои думы, свою вѣру, свои обиды.

«Natalie,—говоритъ Герценъ,—едва указала мнѣ Бога, и я сталъ вѣровать. Пламенная же душа артиста переходила границы и терялась въ темномъ, но величественномъ мистицизмѣ, и я нашелъ въ мистицизмѣ больше жизни и поэзіи, чѣмъ въ философіи. Благословляю то время.»

Этотъ темный, величественный мистицизмъ спасалъ Витберга отъ отчаянія и всасывалъ въ себя его глубокую, безысходную тоску. Ссылнымъ, опозореннымъ, признаннымъ чуть не за вора, жилъ онъ въ Вяткѣ, зная, но не смѣя даже допустить въ мысли, даже наединѣ съ самимъ собою, что его проектъ, его мечта сойдеть неосуществленнымъ вмѣстѣ съ нимъ въ могилу. Къ величественному и грандіозному стремилась его душа, и эти святые порывы онъ воплотилъ въ своемъ храмѣ. Судьба, казалось, была на его сторонѣ: Александръ I призналъ геній художника, одобрилъ его планы и чертежи. Было приступлено къ работамъ, и вдругъ рухнуло отъ зависти, злобы, клеветы.

«Не зданіе храма,—говоритъ Герценъ,—хотѣлъ воздвигнуть художникъ, а молитву Богу... Храмъ долженъ былъ состоять изъ трехъ отдѣльныхъ. Первый храмъ—нижній, храмъ тѣлесный, тремя сторонами вдается въ гору; свѣтъ проникаетъ въ него съ четвертой стороны—восточной. Алтарь освѣщаютъ огромныя стекла съ изображеніемъ Рождества Христова. Сводъ поддерживается столбами изъ гранита. Стѣны украшены чернымъ, бѣлымъ и сѣрымъ мраморомъ. Барельефы изображаютъ исторію и смерть Спасителя и апостоловъ. Въ углубленіи катакомбы въ память всѣхъ воиновъ, павшихъ за отечество. Сводъ образуетъ фундаментъ второго храма и завершается катакомбой, въ которой должны быть положены воины, павшіе за отечество въ 1812 году. Внутреннія лѣстницы соединяють нижній храмъ со вторымъ».

Въ темные осенніе вечера, въ долгія лѣтнія ночи Витбергъ со страстью и упоеніемъ посвящалъ Герцена въ тайну и символику своего грандіознаго проекта и передавалъ ему тѣ обстоятельства жизни, которыя раздавили и растоптали мечты художника.

Душа Герцена была какъ нельзя болѣе подготовлена къ тому, чтобы мистическія страстныя рѣчи находили себѣ отзвукъ въ ней. Но въ ней все же сохранялось мѣсто и для думъ юности, и для прежнихъ увлеченій, но высказывать ихъ Витбергу было невозможно.

«Странно,—пишетъ Герценъ,—что нѣтъ перехода между новымъ и старымъ впечатлѣніями. Объ искусствѣ, о наукахъ мы никогда

не спорили другъ съ другомъ, но какъ скоро доходило до жизни, оврагъ насъ дѣлилъ, и я съ прискорбіемъ пряталъ свою тайну въ душу свою, боясь его полезнаго, опытнаго мнѣнія.»

Герценъ молчалъ о политикѣ, жалѣя разрушить дружбу, и находилъ, что съ этой стороны одиночество его продолжается. «Жизнь, говорилъ онъ о себѣ, несмотря на любовь, дружбу, разговоръ и письма, все же не давала мнѣ достаточно жизни». Онъ скучалъ. Въѣдъ еще и теперь, черезъ шестьдесятъ лѣтъ, умный человѣкъ не всегда знаетъ, что ему дѣлать въ провинціи, и не способенъ переварить пустоты и однообразія ея существованія. Поневолѣ онъ рвется на огонь въ столицу, гдѣ если и не очень ужъ много хорошаго, зато много возможностей хорошаго, много ожиданій и не меньше иллюзій. Цезарь былъ вѣроятно не совсѣмъ искрененъ, увѣряя, что предпочелъ бы первое мѣсто въ деревнѣ—второму въ Римѣ. Для Цезарей—въ деревнѣ нѣтъ мѣста...

* *
*

Полныя отчаянія, тоски письма Натальи Александровны продолжались. Остановимся еще немного на этомъ романѣ, полномъ поэзіи и правды жизни.

Ея женихъ—полковникъ понравился всѣмъ. Сенаторъ его ласкалъ, отецъ Герцена находилъ, что «лучше жениха нельзя ждать и желать не должно». Княгиня ничего не говорила прямо, но прибавляла притѣненій и торопила дѣло. Дѣвушка пробовала прикидываться при женихѣ совершенной дурочкой, думая, что *этимъ* отстрашаетъ его. Нисколько, онъ продолжалъ ѣздить чаще и чаще.

«Вчера,—пишетъ она,—была у меня Эмилія, вотъ что она сказала: «еслибы я услышала, что ты умерла, я бы съ радостью перекрестилась и поблагодарила бы Бога». Она права во многомъ, но не совсѣмъ; душа ея, живущая однимъ горемъ, поняла вполне страданія моей души, но блаженство, которымъ ее наполняетъ любовь,—едва ли ей доступно».

Княгиня, не смотря на препятствія, не унывала: «Желая очистить свою совѣсть, она призвала священника, знакомаго съ полковникомъ, и спрашивала его, не грѣхъ ли будетъ отдать меня насильно? Священникъ сказалъ, что будетъ даже богоугодно пристроить сироту. Я пошла за своимъ духовникомъ и открыла ему все.»

Полковникъ оказался однако благороднѣе, чѣмъ его считали.

Какъ ни скрывали и ни маскировали дѣла, онъ не могъ не увидѣть рѣшительнаго отвращенія невѣсты: онъ сталъ рѣже ѣздить, сказавшись больнымъ, заикнулся даже о прибавкѣ приданого. Это очень разсердило, но княгиня прошла и черезъ это униженіе: она давала еще свою подмосковную. Этой уступки, кажется, онъ не ждалъ, потому что послѣ нея совершенно скрылся.

Мѣсяца два прошли тихо. Вдругъ разнеслась вѣсть о переводѣ Герцена во Владиміръ. Тогда княгиня сдѣлала послѣдній отчаянный опытъ сватовства. У одной изъ ея знакомыхъ былъ сынъ—офицеръ, только что возвратившійся съ Кавказа; онъ былъ молодъ, образованъ и весьма порядочный человѣкъ. Княгиня, откинувъ спѣсь, сама предложила его сестрѣ «прозондировать» брата, не хочетъ ли онъ посвататься.

Онъ поддался на внушенія сестры. Но Натальѣ Александровнѣ не хотѣлось еще разъ играть ту же скучную и отвратительную роль; она, видя, что дѣло принимаетъ серьезный оборотъ, написала новому жениху письмо, гдѣ прямо, открыто и просто говорила ему, что любитъ другого, довѣрлась его чести и просила не увеличивать ея страданія. Офицеръ очень деликатно устранился...

— Рѣшительно, съ этой дѣвчонкой нѣтъ никакого сладу! въ раздраженіи произнесла княгиня, услышавъ объ исходѣ сватовства.

«Надо было положить этому конецъ»...—пишетъ Герценъ.

* * *

Въ исходѣ 1837 года Герценъ былъ, по Высочайшему соизволенію, переведенъ изъ Вятки во Владиміръ, на службу въ канцелярію губернатора Куруты — превосходнѣйшаго человѣка. 29 декабря въ сумерки онъ выѣхалъ изъ города. Семейство Витбергъ провожало его. Къ Витбергу же были написаны и его первыя письма съ дороги, первыя письма человѣка, почувствовавшаго, что онъ опять если и не свободенъ, то на дорогѣ въ свободѣ. Онъ писалъ изъ Полянъ, находящихся въ 46-ти верстахъ отъ Нижняго-Новгорода:

«Сюда пріѣхалъ я въ первомъ часу. И такъ обнимемся, Александръ Лаврентьевичъ и всѣ ваши! Вотъ вы всѣ передъ глазами. А Эрнъ отдалъ ли яблоки пуще всего? Я сижу въ пресквернѣйшей избѣ, наполненной тараканами, до которыхъ M-me Witberg не

большая охотница, и пью шампанское, до котораго М-г Witberg не охотникъ. Оно не замерзло, и я имѣлъ терпѣніе вести его отъ Бахты, а дуракъ станціонный смотритель спрашивалъ: «виноградное что ли-съ?»—нѣтъ, изъ клюквы! сказалъ я ему,—и онъ будетъ увѣрять въ этомъ провѣзжихъ. Изъ Нижняго буду писать *comme il faut*, а здѣсь ни пера, ничего, зато дружбы къ вамъ много, много. Передъ вами вспомнилъ только кого?

Sapienti sat. Александръ».

(1-го января 1838 года, Нижній-Новгородъ.)

«Еще разъ поздравляю васъ, Александръ Лаврентьевичъ, съ новымъ годомъ; какъ вы провожаете его? Я живу одиноко въ гостиницѣ, съ вѣчной одной мечтой и временами запивая съ вами виномъ слезу горячую. Наша встрѣча была важна. Вы, какъ Виргилій, взявшій вести Данта, сбившагося съ дороги; жаль, что вы постушили не совсѣмъ такъ, какъ Виргилій,—онъ довезъ Данта до Беатриче, а вы должны были покинуть меня на Бахтѣ. Извините, что кончилъ глупостью. Вы понимаете,—ну, стало довольно. Прочтите мое письмо къ Эрну—оно напомнитъ вамъ меня... Прощайте!»

(3-го января, Владиміръ.)

«Такъ какъ христіанинъ останавливается въ благоговѣйномъ трепетѣ, не входя въ храмъ, на паперти, такъ и я остановился передъ Москвою. Еще нога пилигрима не такъ чиста, чтобы коснуться святого города. Москва! Москва!»

VI.

Владиміръ на Клязьмѣ.

Герценъ ѣхалъ во Владимиръ, но не утерпѣлъ и завернулъ въ Москву, рискуя, быть можетъ, солдатчиной, быть можетъ, Сибирью. Наконецъ то, послѣ утомительно долгой разлуки, увидѣлся онъ съ невѣстой. Полной поэзіи оказалась встрѣча.

«Natalie — рассказываетъ онъ—вошла, гдѣ я ждалъ ее, вся въ бѣломъ, ослѣпительно прекрасна; три года разлуки и вынесенная борьба окончили черты и выраженіе. «Это ты»—сказала она своимъ тихимъ, кроткимъ голосомъ... Мы сѣли на диванъ и молчали. Выраженіе счастья въ ея глазахъ доходило до страданія. Должно быть, чувство радости, доведенное до высшей степени, сдѣшивается съ выраженіемъ боли, потому что и она мнѣ сказала: «какой у тебя измученный видъ!». Я держалъ ея руку, на другую она облокотилась, и намъ нечего было другъ другу сказать... короткія фразы, два-три воспоминанія, слова изъ писемъ, пустыя замѣчанія. Сердце было слишкомъ полно и не находило словъ. Потомъ взошла нянюшка, говоря, что пора, и я всталъ не возражая, и она меня не останавливала: такая полнота была въ душѣ. Больше, меньше, короче, дольше, еще—все это исчезло передъ полнотою настоящаго.»

Герценъ уѣхалъ съ твердымъ намѣреніемъ похитить свою невѣсту, разъ старики и старухи не соглашались отдать ее ему добромъ. Она одинаково не видѣла другого исхода, и, благодаря помощи друзей, отчасти и постороннихъ, заинтересованныхъ романомъ, планъ удался какъ нельзя лучше: въ маѣ 38-го года состоялась свадьба.

Вечеромъ въ день вѣнчанія Герценъ написалъ письмо отцу, просилъ его не сердиться на конченное дѣло, и «такъ какъ Богъ соединилъ насъ»,—то простить. Иванъ Алексѣевичъ и въ эту драматическую минуту остался вѣрнъ себѣ. Онъ обыкновенно писалъ

сыну нѣсколько строкъ въ недѣлю, теперь онъ не ускорилъ ни однимъ днемъ отвѣта и не отдалилъ его, даже начало письма было какъ всегда:

«Письмо твое — сообщалъ Иванъ Алексѣевичъ — отъ 10 мая я третьяго дня въ пять съ половиною получилъ и изъ него не безъ огорченія узналъ, что Богъ соединилъ тебя съ Наташей. Я вождь Божіей ни въ чемъ не перечу и слѣпо покоряюсь искушеніямъ, которыя Онъ ниспосылаетъ на меня. Но такъ какъ деньги мои, а ты не считаешь нужнымъ сообразоваться съ моею волей, то и объявляю тебѣ, что я къ прежнему твоему окладу, тысячи рублей серебромъ въ годъ, не прибавлю ни копейки.»

Пришлось покориться и подумать объ экономіи. Молодость впрочемъ города беретъ, какъ же ей не справиться съ матеріальными затрудненіями?

«У насъ — вспоминаетъ Герценъ — не было ничего, да—рѣшительно ничего, ни одежды, ни бѣлья, ни посуды. Мы сидѣли подъ арестомъ въ маленькой квартирѣ, потому что не въ чемъ было выйти. Матвѣй изъ экономическихъ видовъ сдѣлалъ отчаянный шагъ превратиться въ повара, но кромѣ бифштекса и котлетъ онъ не умѣлъ ничего дѣлать, и потому держался больше вещей, по натурѣ готовыхъ, ветчины, соленой рыбы, молока, яицъ, сыру и какихъ то пряниковъ съ мятой. Обѣдъ былъ для насъ безконечнымъ источникомъ снѣжка; иногда молоко подавалось сначала—это значило супъ, иногда послѣ всего виѣсто десерта... Такъ бѣдствовали мы и пробились съ годъ времени. Наконецъ и отцу моему надоѣло брать насъ, какъ крѣпость, голодомъ; онъ, не прибавляя ничего къ окладу, сталъ присылать денежные подарки.»

Владимірскій періодъ въ жизни Герцена — это періодъ тихаго семейнаго счастья, безъ тревогъ и тревоженій, медовый мѣсяцъ любви. Постороннему нечего останавливаться на немъ, какъ нечего ему прислушиваться къ разговору влюбленныхъ; у нихъ свои радости, свои горести, даже языкъ у нихъ свой. Герценъ чувствовалъ себя добрымъ, сильнымъ, готовымъ, какъ онъ самъ выражается, на «побѣду и одолѣніе», и виѣсть съ тѣмъ совершенно спокойнымъ, такъ какъ пока ни побѣждать, ни одолѣвать было некого. Онъ пишетъ напирѣтъ Витбергу:

«Что касается до моего дѣла, болѣе перевода во Владимиръ ничего нельзя было сдѣлать. Государь сказалъ: «Я для нихъ назначилъ срокъ». Но теперь что же мнѣ Владимиръ—уголъ рая, и ежели человѣку надобна земная опора, не все ли равно, гдѣ она — на Клязьмѣ или на Эльбѣ. Я до того счастливъ, что мнѣ иногда становится страшно. За что же providѣніе меня такъ наградило? Не-

ужели за мои мелкія страданія? Въ самомъ дѣлѣ, какъ необятно наше блаженство, даже всѣ эти непреодолимые препятствія исчезли, растаяли отъ чистаго огня любви чистой. Папенъка и Левъ Алексѣевичъ съ первой же почтой писали миръ и поздравленіе, и хотя, кажется, папенъка хочеть немножко меня потѣснить матеріальными средствами, но это больше отцовское наказаніе, временное, нежели сердце. Еще разъ прощайте. Цѣлую и обнимаю васъ.»

Или:

«Ну что я вамъ скажу о себѣ? счастливъ, сколько можетъ человѣкъ быть счастливъ на землѣ, сколько можетъ быть счастливъ человѣкъ, имѣющій душу, раскрытую и свѣтлому, и высокому и симпатичную къ страданіямъ другихъ.»

Наташа—поэтъ безумный, неземной, въ ней все необыкновенно: она дика, боится толпы, но со мною высока и изящна. Кстати, я хотѣлъ вамъ написать, она, тоже какъ вы, не любитъ смѣхъ, никогда не произноситъ напрасно имя Бога и не любитъ Гогартовыхъ карикатуръ. Это напомнить вамъ нашу жизнь совокупную. А я думаю, подчасъ вамъ сладко вспоминать мрачные 1836 и 1837 годы: и въ дальней Вятѣ вы нашли человѣка, душевно преданнаго, съ пламенною любовью къ вамъ.»

Свѣтлые и безмятежные дни проводили Герцены въ маленькой квартирѣ въ три комнаты у Золотыхъ воротъ, а потомъ въ огромномъ домѣ какой то вдовы-княгини.

«Здѣсь была большая зала, едва меблированная... иногда насъ брало такое ребячество, что мы бѣгали по ней, прыгали по стульямъ, зажигали свѣчи во всѣхъ канделябрахъ, прибитыхъ къ стѣнѣ, и, освѣтивъ залу а гіогно, читали стихи. Порядокъ не торжествовалъ въ нашемъ домѣ.»

И со всѣмъ этимъ ребячествомъ жизнь была полна глубокой серьезности. Заброшенные въ маленькомъ городѣ, тихомъ и смирномъ, мужъ и жена были вполне отданы другъ другу. Изрѣдка приходила вѣсть о комъ нибудь изъ друзей, нѣсколько словъ горячей симпатіи, и потомъ опять одни, совершенно одни.

«Но въ этомъ одиночествѣ грудь наша—говорилъ Герценъ—не была замкнута счастьемъ, а, напротивъ, была больше, чѣмъ когда либо, раскрыта всѣмъ интересамъ; мы много жили тогда во всѣ стороны, думали и читали, отдавались всему и снова сосредоточивались на нашей любви, мы свѣрjali наши думы и мечты и съ удивленіемъ видѣли, какъ безконечно шло наше сочувствіе, какъ во всѣхъ тончайшихъ изгибахъ и развѣтвленіяхъ чувствъ и мыслей, вкусовъ и антипатій все было родное, созвучное. Только въ томъ и была разница, что Natalie вносила въ нашъ союзъ элементъ тихій, кроткій, граціозный, элементъ молодой дѣвушки со всей поэзіей любящей женщины, а я—живую дѣятельность, мое *semprae in motu*, непре-

дѣльную любовь, да сверхъ того путаницу серьезныхъ идей, смѣха, опасныхъ мыслей и вучу несбыточныхъ проектовъ. Мои желанія остановились. Мнѣ было довольно, я жилъ въ настоящемъ, ничего не ждалъ отъ завтрашняго дня, беззаботно вѣрилъ, что и онъ ничего не возьметъ. Личная жизнь не могла больше дать, это былъ предѣлъ; всякое измѣненіе должно было съ какой нибудь стороны уменьшить его.»

Къ довершенію семейной идилліи у Герцена въ іюнѣ 38 года родился сынъ-первенецъ, Александръ,—теперь профессоръ фیزیологіи въ Лозаннѣ.

* * *

Глядя на эту картину семейнаго полнаго счастья, кто бы могъ подумать, что пройдетъ немного лѣтъ, и вмѣсто единенія появится разладъ, что широкая трещина пробѣжитъ черезъ привязанность, а самая идиллія разсѣется, какъ дымъ. Случилось однако такъ, и опять тяжелый вопросъ: «кто виноватъ» поднимается передъ нами.

Заглянемъ за нѣсколько лѣтъ впередъ, чтобы не возвращаться уже болѣе къ этой грустной темѣ. Уже въ 1843 году Татьяна Пассекъ замѣтила, что «жизнь Герцена, повидимому счастливая, шла не совсѣмъ свѣтло». Наталья Александровна кромѣ слабаго здоровья постоянно находилась подъ гнетущимъ чувствомъ сомнѣнія любви къ ней мужа; — это порой выражалось болѣзненными сценами, которыя мучили Герцена. Онъ относилъ ихъ то къ физическому разстройству жены, то къ ея воспитанію, то характеру, къ привычекъ сосредоточиваться на печальныхъ мысляхъ, то весь вредъ находилъ въ томъ, что она удаляется отъ общества, ведетъ отшельническую жизнь; обвинялъ себя, зачѣмъ часто оставляетъ ее одну по слишкомъ поглощающимъ его умственнымъ занятіямъ, зачѣмъ, по безпечности, не измѣнилъ ея душевнаго настроенія и не сдумалъ достаточно счастливо обставить ея жизнь. Часто заставляя ее въ слезахъ,—вначалѣ старался ее развлекать, успокоивалъ, скрывалъ свое огорченіе, наконецъ терялъ терпѣніе и то уходилъ изъ дому въ какомъ то горячечномъ состояніи, то прибѣгалъ къ объясненію—а объясненія почти никогда не приводили къжелаемому результату. Наталья Александровна плакала, говорила, что она, всегда больная, страждущая, тоскующая, портитъ ему жизнь, что она ему

не нужна и лучше было бы ему от нея избавиться, лучше бы ей умереть; что онъ, конечно, потосковалъ бы о ней, а потомъ—успокоился. Герценъ увѣрялъ ее въ своей любви, говорилъ, что всё ея сомнѣнія—тѣни, призраки: Наталья Александровна, заливаясь слезами, признавалась, что эти сомнѣнія не оставляли ея съ первыхъ дней ихъ жизни вмѣстѣ, а она только скрывала ихъ отъ него; что они рождались въ ней съ ихъ первыхъ встрѣчъ, и она тогда же поняла, что его натурѣ можетъ соответствовать натура болѣе энергичная, чѣмъ ея. Измѣняя извѣстные стихи, можно сказать, что въ одной и той же упряжкѣ нельзя держать «орла и трепетную лань». Материнское, нѣжное чувство Натальи Александровны находило слишкомъ мало приищенія въ отношеніи ея мужа. И она все больше и больше понимала, что она ненужна. Съ однимъ изъ эпизодовъ этого разлада мы еще встрѣтимся, пока же нѣсколько строкъ изъ воспоминаній Татьяны Пассекъ:

«При блестящемъ умѣ и рѣдко-добромъ сердцѣ, Саша по распушенности и съ дѣтства вкоренившейся привычкѣ, не долго думая, дѣлать все, что хотѣлось, не заботясь, какъ оно отзовется другимъ и даже самому себѣ,—впадалъ иногда въ такіе промахи и ошибки, которые разрушительно отзывались не только лично на немъ, но и на его семействѣ. Вслѣдствіе этой черты его характера, въ Москвѣ онъ—увекся... не по сердечному чувству... раскаивался, жалѣлъ, надѣялся, что все сойдетъ съ рукъ даромъ, но оно не сошло, а сдѣлалось источникомъ долгихъ душевныхъ страданій.

Наташа хотѣла простить, забыть и—не могла.

Этого онъ не ждалъ... Она была огорчена—оскорблена. Огорченіе ея стало принимать все болѣе и болѣе широкіе размѣры.—Герценъ терялся передъ ея горемъ, передъ ея слезами, чувствуя себя виноватымъ, просилъ, умолялъ, говорилъ ей: «я сохранилъ къ тебѣ любовь во всей ея свѣтлости.»

Обвиняя себя,—онъ писалъ, мысленно обращаясь къ женѣ:—«Я поднимаюсь,—а рубцы то, нанесенные мной?—безконечная любовь носить въ себѣ и безконечное чувство самодостоинства. Она плачетъ не о фактѣ, а объ утраченномъ счастьи. Этотъ пятый годъ моей женитьбы раздавилъ послѣдніе цвѣты юности, послѣднія упованія; людямъ нравится во мнѣ широкій взглядъ, человѣческія симпатіи, теплая дружба, добродушіе—и не видать, что фондъ всему слабый характеръ. Во мнѣ нѣтъ твердой, хранительной силы. Мечты, мечты мои!—гдѣ вы? послѣдніе листы облетѣли и—призваніе общее, и призваніе частное,—все оказалось призракомъ, одни сомнѣнія парятъ въ душѣ, и слезы о вѣкѣ, о странѣ, о дружбѣ, о себѣ, о ней—grâce, pour soi même!»

Измученный, онъ обращался къ друзьямъ за сочувствіемъ, за

совѣтомъ, и находилъ въ сочувствіи—судъ, въ совѣтахъ—предложенія, не сообразныя ни съ его характеромъ, ни съ больнымъ состояніемъ его духа, и упреки, если имъ не слѣдовалъ.

Странно и оскорбительно бываетъ участіе большей части людей, даже и любящихъ насъ.

Да, «жизнь учить насъ мученьями, годами и событіями».

Москва.—Новгородъ.—Петербургъ.

«Въ тридцатыхъ годахъ — говоритъ Герценъ — убѣжденія наши были слишкомъ юны, слишкомъ страстны и горячи, чтобы не быть исключительными. Мы могли холодно уважать кругъ Станкевича, но сблизиться не могли. Они чертили философскія системы, занимались анализомъ себя и успокаивались въ роскошномъ пантеизмѣ, изъ котораго не исключалось христіанство. Мы мечтали о томъ, какъ начать въ Россіи новую жизнь.»

«Въ 1834 году былъ сосланъ весь кружокъ Сунгурова и исчезъ. Въ 1835 году сослали насъ; черезъ пять лѣтъ мы возвратились, закаленные, опредѣлившіеся. Юношескія мечты сдѣлались невозвратнымъ рѣшеніемъ совершеннотѣхнѣхъ. Это было самое блестящее время кружка Станкевича. Его самого я не засталъ—онъ былъ въ Германіи, но именно тогда статьи Бѣлинскаго стали обращать на себя вниманіе всѣхъ. Возвратившись, мы помирились. Бой былъ неравенъ съ обѣихъ сторонъ; почва, оружіе и языкъ — все было разное. Послѣ бесплодныхъ преній мы увидѣли, что пришелъ намъ чередъ серьезно заняться наукой, и сами принялись за Гегеля и нѣмецкую философію. Когда мы довольно усвоили ее себѣ, оказалось, что между нами и кругомъ Станкевича спору нѣтъ.»

Въ Москву Герценъ возвратился въ 1840 году, послѣ пяти лѣтъ отсутствія. Здѣсь былъ уже Огаревъ, вокругъ котораго группировались члены бывшаго станкевичевского кружка. Бакунинъ и Бѣлинскій стояли во главѣ, каждый съ томомъ Гегелевой философіи въ рукахъ и съ юношеской нетерпимостью провозглашавшіе—нѣтъ философа кромѣ Гегеля, и мы—пророки его. Герцена приняли радушно, съ почетнымъ снисхожденіемъ, какъ человѣка пострадавшаго, съ готовностью произвести его въ свои, но подъ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы онъ призналъ гегелианство за догматъ и преклонился передъ нимъ. Прежде чѣмъ признать и преклониться, онъ сталъ изучать, и страстное одушевленіе товарищей мало по малу передалось и ему.

Въ наше время нѣтъ философа, нѣтъ системы, которая имѣла бы такое всеобщее значеніе, какъ гегеліанство пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ. Ни Дарвинъ, ни Марксъ, ни Спенсеръ не могутъ идти въ сравненіе. Они вліяютъ лишь на извѣстные умы, на извѣстные темпераменты. Гегель подчинялъ себѣ одинаково и мистика Кирѣевскаго, и положительнаго скептика Герцена, и нервнаго впечатлительнаго Бѣлинскаго, и флегматика Огарева. Въ гегеліанствѣ есть стихійная сила, какая—увидимъ ниже.

Толковали о Гегелѣ безпрестанно; нѣтъ параграфа во всѣхъ трехъ частяхъ «Логики», въ двухъ «Эстетики», «Энциклопедіи» и пр., который бы не былъ взятъ съ бою отчаянными спорами нѣсколькихъ ночей. Люди, любившіе другъ друга, расходились на цѣлыя недѣли, несогласившись въ опредѣленіи «перехватывающаго духа», принимали за обиды мнѣнія объ «абсолютной личности и объ ея по себѣ бытіи». Всѣ ничтожнѣйшія брошюры, выходившія въ Берлинѣ и другихъ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ нѣмецкой философіи, гдѣ только упоминалось о Гегелѣ, выписывались, зачитывались до дыръ, до пятны, до паденія листовъ въ нѣсколько дней.

Самый языкъ сталъ совершенно особенный, «птичій», какъ выразился астрономъ Перевощиковъ.

«Никто,—говоритъ Герценъ,—не отрекся бы въ тѣ времена отъ подобной напр. фразы: «конкресцированіе абстрактныхъ идей въ сферѣ пластики представляетъ ту фазу самонущаго духа, въ которой онъ потенцируется изъ естественной имманентности въ гармоническую сферу образнаго сознанія въ красотѣ».

Языкъ портился, рядомъ съ этимъ шла другая ошибка, болѣе глубокая.

«Молодые философы наши испортили себѣ не однѣ фразы, но и пониманье; отношеніе къ жизни, дѣйствительности сдѣлалось школьное, книжное; это было то ученое пониманіе простыхъ вещей, надъ которымъ такъ гениально смѣялся Гёте въ своемъ разговорѣ Мефистофеля со студентомъ. Въ самомъ дѣлѣ, непосредственное, всякое простое чувство было возводимо въ отвлеченныя категоріи и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, блѣдной алгебраической тѣнью. Во всемъ этомъ была своего рода наивность, потому что все было совершенно искренне. Человѣкъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобы отдаться пантеистическому чувству своего единства съ Космосомъ, и если ему попадался по дорогѣ какойнибудь солдатъ подъ хмѣльнымъ или баба, вступавшая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредѣлялъ субстанцію народную въ ея непосредственномъ и случайномъ проявленіи.

Самая слеза, навертывавшаяся на вѣкахъ, была строго отнесена къ своему порядку—гемюту—или къ «трагическому въ сердцѣ».

«То же въ искусствѣ... Знаніе Гёте, особенно второй части «Фауста» (оттого ли, что она хуже первой или труднѣе ея), было столько же обязательно, какъ имѣть платье. Разуиѣтся, объ Россіини и не говорили, къ Моцарту были снисходительны, хотя и находили его дѣтскимъ и бѣднымъ; зато производили философскія слѣдствія надъ каждымъ аккордомъ Бетховена и очень уважали Шуберта, не столько, полагаю, за его превосходные напѣвы, сколько за то, что онъ бралъ философскія темы для нихъ, какъ «Всемогущество Божіе» и «Атласъ». На ряду съ итальянской музыкой дѣйла опалу и французская литература, и вообще все французское, по дорогѣ и политическое.

«Отсюда легко понять поле, на которомъ мы должны были непременно встрѣтиться и сразиться. Пока пренія шли о томъ, что Гёте объективенъ, но что его объективность субъективна, тогда какъ Шиллеръ—поэтъ субъективный, но его субъективность объективна, и наоборотъ—все шло мирно. Вопросы болѣе серьезныя не замедлили явиться.»

Не хотѣли знать и понимать того, что Гегель во время своей профессуры въ Берлинѣ, долею отъ старости и вдвое отъ довольства мѣстомъ и почетомъ, намѣренно завинтилъ свою философію надъ земнымъ уровнемъ и держался въ средѣ, гдѣ всѣ современные интересы и страсти становятся довольно безразличны, какъ зданія и села съ воздушнаго шара; онъ не любилъ зацѣпляться за эти проклятые практическіе вопросы, съ которыми трудно ладить и на которые надо было отвѣчать положительно. Настоящій Гегель былъ тотъ скромный профессоръ іенскаго университета, другъ Гельдерлина, который спасъ подъ полой свою феноменологію, когда Наполеонъ вступалъ въ городъ; тогда его философія не веда ни къ индійскому квіэтизму, ни къ оправданію существующихъ гражданскихъ формъ, ни къ прусскому протестантизму; тогда онъ не читалъ своихъ лекцій о философіи религіи, а писалъ гениальныя вещи вроде статьи о палацѣ и смертной казни.

Особенно вкривъ и вкось толковалась фраза «все дѣйствительное разумно», и на ней-то вѣмецкіе консерваторы стремились примирить философію съ политическимъ бытомъ Германіи, оправдать реакціи и взнуздать молодежь, которая все еще нѣтъ-нѣтъ да и бродила. Все дѣйствительное разумно — означало лишь то, что все имѣетъ достаточную причину для существованія, что въ жизни нѣтъ ничего случайнаго. Гегель имѣлъ полное право выразиться такъ,

какъ онъ выразился, потому что единственная признаваемая имъ причина бытія есть разумъ. *Разумно* въ этомъ случаѣ означаетъ «исходить отъ разума». Не грѣша противъ духа гегелевской логики, можно перевернуть фразу и сказать: все существующее есть стадія развитія разума, проявленіе его жизни. На какомъ же основаніи нѣмецкіе консерваторы толковали разумно какъ «умно» и «необходимо», а иногда и «вѣчно» — это ихъ дѣло. Несомнѣнно, что иной разъ самому старику Гегелю бывало тяжело и совѣстно смотрѣть на недалъновидность черезъ край удовлетворенныхъ учениковъ своихъ, а подчасъ — и не совѣтъ честныхъ.

Герценъ протудировалъ Гегеля, но въ кабалу къ нему не пошелъ. Не сразу — это хорошо видно изъ его философской переписки съ Огаревымъ — онъ понималъ, въ чемъ истинная суть гегелианства, и нашелъ въ немъ оправданіе своихъ стремленій. Въ сущности на каждой страницѣ своей философіи Гегель твердитъ и повторяетъ, что въ жизни нѣтъ ничего вѣчнаго, несомнѣннаго, абсолютнаго, что все существующее только переходная стадія развитія. Остановка — это смерть. Въ своемъ извѣстномъ этюдѣ «*Idealisme anglais*» Тэнъ совершенно справедливо замѣчаетъ: «идея развитія (*Entwicklung*) или того, что мы называемъ «эволюція», была основной идеей Гегеля. Вся его философія служить ей, вся его философія — ея примѣненіе». Этой своей идеей гегелианство завоевало себѣ мыслящій міръ; благодаря ей, оно породило широкое умственное движеніе и не умерло до сей поры. Въ ней впервые научно-образно съ послѣдовательностью и величіемъ гениальной мысли была сформулирована система, являющаяся лучшимъ приобрѣтеніемъ XIX-го вѣка.

Какъ не понимали этого? — Одни потому, что не хотѣли понимать, другіе искали оправданія для своего удаленія отъ жизни, третьихъ смущало ученіе Гегеля о личности. Въ этомъ послѣднемъ пунктѣ онъ на самомъ дѣлѣ, вольно или невольно, напуталъ больше всего. Какова роль личности въ жизни? Можетъ ли она что нибудь дѣлать, должна ли она что нибудь дѣлать? Отвѣты давались различныя, всякій принималъ тотъ, который былъ ему наиболѣе по душѣ.

Когда Герценъ привыкъ къ языку Гегеля и овладѣлъ его методомъ, онъ разглядѣлъ, что Гегель гораздо ближе къ его воззрѣнію и его темпераменту, чѣмъ къ воззрѣнію своихъ правовѣрныхъ послѣ-

дователей. Онъ — реформаторъ въ первыхъ своихъ сочиненіяхъ, онъ — реформаторъ вездѣ, гдѣ его геній закусывалъ удила и несся впередъ, забывая бранденбургскія ворота.

«Философія Гегеля, — заключаетъ Герценъ, — необыкновенно освобождаетъ человѣка и не оставляетъ камня на камнѣ отъ міра преданій, пережившихъ себя. Но она можетъ съ намѣреніемъ быть дурно формулирована.

Даже безъ намѣренія.

Бѣлинскій, напр., самая дѣятельная, порывистая, діалектически страстная натура бойца, проповѣдывалъ въ началѣ 40-хъ годовъ индійскій покой созерцанія и теоретическое изученіе вмѣсто борьбы. Онъ вѣровалъ въ это воззрѣніе и не блѣднѣлъ ни передъ какимъ послѣдствіемъ, не останавливался ни передъ нравственнымъ приличіемъ, ни передъ мнѣніемъ другихъ, чего такъ страшатся люди слабые и несамобытные.

— Знаете ли, — сказалъ я ему однажды, — что съ вашей точки зрѣнія вы можете доказать, что и чудовищный произволъ разуменъ и долженъ существовать.

— Безъ всякаго сомнѣнія, — отвѣчалъ Бѣлинскій, и прочелъ мнѣ «Бородинскую годовщину» Пушкина.

«Этого, — рассказывалъ Герценъ, — я не могъ вынести, и отчаянный бой закипѣлъ между нами. Размолвка наша дѣйствовала на другихъ, и кругъ распадался на два стана. Бакунинъ хотѣлъ примирить, объяснить, договорить, но настоящаго мира не было. Бѣлинскій раздраженный и недовольный уѣхалъ въ Петербургъ и оттуда далъ по насъ послѣдній яростный залпъ въ статьѣ, которую такъ и назвалъ «Бородинской Годовщиной».

«Я прервалъ съ нимъ тогда всѣ отношенія. Бакунинъ хотя и спорилъ горячо, но сталъ призадумываться. Бѣлинскій упрекалъ его въ слабости, въ уступкахъ и доходилъ до такихъ преувеличенныхъ крайностей, что пугалъ своихъ собственныхъ пріятелей и почитателей. Хоръ былъ за Бѣлинскаго и смотрѣлъ на насъ свысока, гордо пожимая плечами и находя насъ людьми отсталыми.»

Могло ли долго продолжаться такое страшное непониманіе? Разумѣется, нѣтъ. Бѣлинскому нужно было лишь время, чтобы одуматься, и по своему обыкновенію онъ первый протянулъ руку...

«Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ его отъѣзда въ Петербургъ, — продолжаетъ Герценъ, — въ 1840 году пріѣхали и мы туда. Я не шелъ къ нему. Огареву моя ссора съ Бѣлинскимъ была очень прискорбна; онъ понималъ, что воззрѣнія Бѣлинскаго были переходной болѣзью, да и я понималъ, но Огаревъ былъ добрее. Наконецъ онъ натянулъ своими письмами свиданіе. Наша встрѣча была холодна, сначала непріятна, натянута, но ни Б., ни я мы не были большіе дипломаты; продолженіе ничтожнаго разговора я помянулъ статью о бородинской годовщинѣ. Бѣлинскій вскочилъ съ своего мѣста и,

вспыхнув въ лицѣ, пренаивно сказалъ мнѣ: «Ну, слава Богу, договорились-же, а то я съ моимъ глупымъ правомъ не зналъ, какъ начать... ваша взяла; три-четыре мѣсяца въ Петербургѣ меня лучше убѣдили, чѣмъ всѣ доводы. Забудемте этотъ вздоръ. Довольно вамъ сказать, что на-дняхъ я обѣдалъ у одного знакомаго, тамъ былъ инженерный офицеръ; хозяинъ спросилъ его, хочетъ ли онъ со мной познакомиться?—Это авторъ статьи о бородинской годовщинѣ? спросилъ его на ухо офицеръ.—Да.—Нѣтъ, покорно благодарю, отвѣчалъ онъ. Я слышалъ все и не могъ вытерпѣть, пожалъ руку офицеру и сказалъ ему: «вы благородный человѣкъ, я васъ уважаю...» Чего же вамъ больше? Съ этой минуты и до кончины Бѣлинскаго мы шли съ нимъ рука объ руку.»

Бѣлинскій, Грановскій — вотъ люди, которыхъ неизмѣнно цѣнилъ Герценъ и въ сущности первый отбранилъ ихъ какъ слѣдовало.

«Въ этомъ застѣнчивомъ человѣкѣ,— говорилъ онъ напр. о Бѣлинскомъ,— въ этомъ хиломъ тѣлѣ обитала мощная гладиаторская натура! да, это былъ сильный боецъ! онъ не умѣлъ проповѣдывать, поучать; ему надобенъ былъ споръ. Безъ возраженій, безъ раздраженія онъ говорилъ не хорошо, но когда онъ чувствовалъ себя уязвленнымъ, когда касались до его дорогихъ убѣжденій, когда у него начинали дрожать мышцы щекъ и голосъ прерываться, тутъ надобно было его видѣть: онъ бросался на противника барсомъ, онъ рвалъ его на части, дѣлалъ его смѣшнымъ, дѣлалъ его жалкимъ и по дорогѣ съ необычайной силой, съ необычайной поэзіей развивалъ свою мысль. Споръ оканчивался очень часто кровью, которая у больного лилась изъ горла: блѣдный, задыхающійся, съ глазами, остановленными на томъ, съ кѣмъ онъ говорилъ, онъ дрожащей рукой поднималъ платокъ ко рту и останавливался глубоко огорченный, униженный физической слабостью. Какъ я любилъ и какъ я жалѣлъ его въ эти минуты!»

* *
*

Пребываніе Герцена въ Петербургѣ закончилось нѣсколько неожиданно. Однажды уже возвращенный изъ ссылки, разъ помилованный и даже вновь зачисленный на службу, онъ былъ однако такъ же далекъ отъ гражданскаго благонравія, какъ и раньше. Случилась глупая исторія: какой то будочникъ ограбилъ прохожаго. Герценъ на эту тему разговаривалъ, описалъ даже случай въ письмѣ къ отцу. Этого было достаточно, чтобы III-е отдѣленіе немедленно вышло въ дѣло. Начались свиданія съ Сахтынскимъ, Дуббельтомъ, Бенкендорфомъ, и въ результатѣ Герценъ долженъ былъ отправиться въ Новгородъ *созвѣстникомъ губернскаго правленія* и въ то же время *подъ надзоръ полиціи*.

Вообразить его себѣ въ мундирѣ совѣтника подписывающимъ бумаги—довольно трудно, и только онъ самъ можетъ помочь намъ сдѣлать это. Приведу изъ его воспоминаній нѣсколько отрывковъ, полныхъ такой желчи и такой безпощадной ироніи, что самъ Щедринъ охотно подписался бы подъ ними.

«Когда я присмотрѣлся къ дѣламъ губернскаго правленія, я увидѣлъ, что мое положеніе не только очень непріятно, но чрезвычайно опасно. Каждый совѣтникъ отвѣчалъ за свое отдѣленіе и дѣлилъ отвѣтственность за всѣ остальные. Читать бумаги по всѣмъ отдѣленіямъ было рѣшительно невозможно, надо было подписывать на вѣру. Губернаторъ, послѣдовательный своему мнѣнію, что совѣтникъ никогда не долженъ совѣтывать, подписывалъ противно смыслу и закону первый послѣ совѣтника того отдѣленія, по которому было дѣло. Лично для меня это было превосходно; въ его подписи я находилъ нѣкоторую гарантію, потому что онъ дѣлилъ отвѣтственность, и потому еще, что онъ часто съ особеннымъ выраженіемъ говорилъ о своей высокой честности и робеспьеровской неподкупности. Что касается до подписей другихъ совѣтниковъ, то онѣ мало успокаивали. Люди эти были закаленные старые писцы, дослужившіеся десятками лѣтъ до совѣтничества, жили они одной службой, т. е. одними взятками. Когда они поняли, что я не буду участвовать ни въ дѣлѣ общихъ доходовъ, ни самъ грабить, они стали на меня смотреть, какъ на непрощеннаго гостя и опаснаго свидѣтеля. Они не очень сближались со мной, особенно когда разглядѣли, что дружба между мной и губернаторомъ была очень умѣренная.

«Къ губернатору я отправился вскорѣ по приѣздѣ въ Новгородъ—переимѣна декораций была удивительная. Въ Петербургѣ (я его и тамъ видѣлъ) губернаторъ былъ въ гостяхъ, здѣсь—дома; онъ даже и ростомъ, казалось мнѣ, былъ побольше въ Новгородѣ. Не вызванный ничѣмъ съ моей стороны, онъ счелъ нужнымъ сказать, что не терпитъ, чтобы совѣтники подавали голосъ и оставались при своемъ мнѣніи, что это задерживаетъ дѣло; что если что не такъ, то можно переговорить, а какъ на *мнѣніи* пойдетъ, то тотъ или другой долженъ подать въ отставку. Я, улыбаясь, замѣтилъ ему, что меня трудно испугать отставкой, что отставка—единственная цѣль моей службы, и прибавилъ, что, пока горькая необходимость заставляетъ меня служить въ Новгородѣ, я вѣроятно не буду имѣть случая подавать своихъ мнѣній.

«Съ подчиненными—столоничальниками—дѣло обстоило не лучше. Я сдѣлалъ многое для того, чтобы привязать ихъ, обращался учтиво, помогалъ имъ денежно и довелъ только до того, что они перестали меня слушаться; они только боялись совѣтниковъ, которые обращались съ ними какъ съ мальчишками, и стали вполнѣна приходить на службу. Это были бѣднѣйшіе люди, безъ всякаго образованія, безъ всякихъ надеждъ; вся поэтическая сторона ихъ существованія ограничивалась маленькими трактирами и настолькой. По своему отдѣленію приходилось тоже быть на сторожѣ.»

Герцену досталось II-е отдѣленіе. Здѣсь вѣдались паспорта, всякіе циркуляры, дѣла о злоупотребленіи помѣщичьей власти, о раскольникахъ, фальшивыхъ монетчикахъ и людяхъ, находящихся подъ полицейскимъ надзоромъ— слѣдовательно, между прочимъ и о самомъ г. совѣтникѣ.

«Нелѣпѣе, глупѣе, — продолжаетъ онъ свой разсказъ, — ничего нельзя себя представить; я увѣренъ, что три четверти людей, которые прочтутъ это, не повѣрятъ, а между тѣмъ это сущая правда, что я, какъ совѣтникъ губернскаго правленія, управляющій вторымъ отдѣленіемъ, свидѣтельствовалъ каждые три мѣсяца рапортъ полицімейстера *о себѣ самомъ*, какъ человекѣ, находящемся подъ полицейскимъ надзоромъ. Полицімейстеръ изъ учтивости въ графѣ о поведеніи ничего не писалъ, а въ графѣ занятій ставилъ: «занимается государственной службой».

«Съ полугода вытянулъ я лямку въ губернскомъ правленіи, тяжело было и крайне скучно. Всякій день въ 11 часовъ утра надѣвалъ я мундиръ, прицѣплялъ стальную шпаженку и являлся въ присутствіе. Въ 12 приходилъ военный губернаторъ; не обращая никакого вниманія на совѣтниковъ, онъ шелъ прямо въ уголъ и тамъ ставилъ свою саблю, потомъ, посмотрѣвши въ окно и поправивъ волосы, онъ подходилъ къ своимъ кресламъ и кланялся присутствующимъ. Едва вахмистръ съ страшными сѣдыми усами, стоявшими перпендикулярно къ губамъ, торжественно отворялъ дверь и бранчанье сабли становилось слышно въ канцеляріи, совѣтники вставали и оставались стоя въ особенномъ положеніи до тѣхъ поръ, пока губернаторъ кланялся. Одно изъ первыхъ дѣйствій оппозиціи съ моей стороны состояло въ томъ, что я не принималъ участія въ этомъ соборномъ возстаніи и благочестивомъ ожиданіи, а спокойно сидѣлъ и кланялся ему тогда, когда онъ намъ кланялся.

«Большихъ преній, горячихъ разсужденій не было; рѣдко случалось, что совѣтникъ спрашивалъ предварительно мнѣніе губернатора, еще рѣже обращался губернаторъ съ дѣловымъ вопросомъ къ совѣтнику. Передъ каждымъ лежалъ ворохъ бумаги и каждый писалъ свое имя — это была фабрика подписей.

«Помня знаменитое изреченіе Талейрана, я не старался особенно блеснуть усердіемъ и занимался дѣлами, насколько было нужно, чтобы не получить замѣчанія и не попасть въ бѣду. Но въ моемъ отдѣленіи было два рода дѣлъ, на которые я не считалъ себя вправе смотрѣть такъ поверхностно: это были дѣла о раскольникахъ и злоупотребленіяхъ помѣщичьей власти.

«Дѣла о раскольникахъ были такого рода, что всего лучше было совсѣмъ не подымать ихъ вновь; я ихъ просмотрѣлъ и оставилъ въ покоѣ. Напротивъ, дѣла о злоупотребленіи помѣщичьей власти слѣдовало сильно перетряхнуть; я сдѣлалъ все, что могъ, и одержалъ нѣсколько побѣдъ на этомъ вязкомъ поприщѣ, освободилъ отъ пре-

слѣдованію одну молодую дѣвушку и отдалъ подѣ опеку одного морского офицера... Морякъ, заранѣе увѣренный, что дѣло о немъ кончится благополучно, какъ громомъ пораженный, явился послѣ указа въ Новгородъ. Ему тотчасъ сказали, какъ что было; яростный офицеръ собирался напасть на меня изъ-за угла, подкупить бурлаковъ и сдѣлать засаду, но, не привыкшій къ сухопутнымъ кампаніямъ, мирно скрылся въ какой-то уѣздный городъ. Это, кажется, единственная заслуга моя по служебной части.»

Съ каждымъ днемъ потребность уйти изъ канцелярскаго міра становилась сильнѣе. Наконецъ терпѣніе лопнуло.

«Разъ,—продолжаетъ Герценъ,—въ холодное зимнее утро пріѣзжаю въ правленіе, въ передней стоитъ женщина, лѣтъ тридцати, крестьянка; увидѣвши меня въ мундирѣ, она бросилась передо мной на колѣни и, обливаясь слезами, просила меня заступиться. Баринъ ея Мусинъ-Пушкинъ ссылая ея съ мужемъ на поселеніе, ихъ сынъ лѣтъ 10-ти оставался, она умоляла позволить ей взять съ собою дитя. Пока она мнѣ рассказывала дѣло, вошелъ военный губернаторъ, я указалъ ей на него и передалъ просьбу. Губернаторъ объяснилъ ей, что дѣти старше 10-ти лѣтъ остаются у помѣщика. Мать, не понимая закона, продолжала просить, ему было скучно; женщина, цѣпляясь за его ноги, рыдала, и онъ сказалъ, грубо отталкивая ее отъ себя: «да что ты за дура такая, вѣдь по-русски тебѣ говорятъ, что я ничего не могу сдѣлать, что-жъ ты пристаешь!»... Послѣ этого онъ пошелъ твердымъ и рѣшительнымъ шагомъ въ уголъ, гдѣ ставилась сабля...

И я пошелъ... съ меня было довольно... развѣ эта женщина не приняла меня за одного изъ нихъ? Пора кончить комедію.

— Вы нездоровы?—спросилъ меня совѣтникъ Хлопкинъ, переведенный изъ Сибири за какіе-то грѣхи.

— Боленъ,—отвѣчалъ я,—всталъ, раскланялся и уѣхалъ. Въ тотъ же день написалъ я рапортъ о моей болѣзни, и съ тѣхъ поръ нога моя не была въ губернскомъ правленіи. Потомъ я подалъ въ отставку за болѣзнию. Отставку мнѣ Сенатъ далъ, присовокупивъ къ ней чинъ надворнаго совѣтника; но Бенкендорфъ съ тѣмъ вмѣстѣ сообщилъ губернатору, что мнѣ запрещенъ вѣздъ въ столицы, а велѣно жить въ Новгородѣ.»

Не надолго однако: въ іюлѣ 42-го года Герцену, по хлопотамъ Огарева, разрѣшили переѣхать въ Москву.

* *
*

Такова внѣшняя сторона жизни за новгородскій періодъ. Что же дѣлалось въ умѣ, сердцѣ? Гегель все это время продолжалъ быть

настойной книгой; сущность его великой философіи мало-по-малу освободилась изъ скорлупы тяжелой терминологіи, схоластических періодовъ, двусмысленныхъ изреченій. Сердцевина стала ясной: Герцену подсказалъ ее темпераментъ. По Гегелю все—всякое явленіе жизни, всякое религиозное вѣрованіе, всякое государственное учрежденіе, всякій обычай, совершенно такъ же какъ и любая геологическая эпоха, были не чѣмъ инымъ, какъ «исторической категоріей»,—не чѣмъ инымъ, какъ звеномъ въ безконечной цѣпи развитія.

Подготовительный періодъ развитія кончился. Цѣлыхъ шесть лѣтъ въ Герценѣ неумолкаемо била мистическая струя, и хотя никогда не давалъ онъ ей простору, но все же присутствіе ея замѣтно на всѣхъ его думахъ, разговорахъ. Одиночество и тоска ссылки, убѣжденная вѣра жены, страстные порывы Витберга—все это подчиняло его себѣ. Но неужели «Wesen des Christenthums» Фейербаха могла оказать такое сильное вліяніе? Дайте эту книгу религиозному человѣку; все что онъ можетъ сдѣлать съ ней—это съ отвращеніемъ бросить въ уголъ. Но въ томъ-то и дѣло, что Герценъ былъ совершенно не религиозной натурой: его скептический умъ и громадная самоувѣренность виноваты, быть можетъ, въ этомъ. Цѣлыхъ шесть лѣтъ онъ потратилъ на то, чтобы *доказать разумомъ* безсмертіе души и бытіе личнаго Бога... Онъ не пришелъ ни къ чему: вѣдь схоластики занимались тѣмъ же 1000 лѣтъ и тоже не пришли ни къ чему.

Надо было вѣрить. Онъ не могъ, искалъ, мучался и постоянно чувствовалъ неловкость. Когда ему приходилось встрѣчаться съ истинно вѣрующими людьми, онъ, какъ умный человѣкъ, не могъ не замѣтить, что они тверже стоятъ на своей почвѣ безусловнаго признанія, чѣмъ онъ на своей—метафизическихъ тонкостей. Фейербахъ только помогъ ему выйти изъ этой путаницы и объяснилъ, что въ сущности означаютъ такіа казуистическія изреченія Гегеля, какъ напр. «личность умираетъ, но *душа*—безсмертна»... ?

Гейне дѣлитъ людей на эллиновъ и іудеевъ. Первые—люди земли, понимающіе ея красоту и способные наслаждаться ею, вторые—отданы въ жертву своему порыву къ неземному, своему исканію безусловно совершеннаго и безусловно истиннаго. У эллина ясный, здоровый умъ, чуткое, открытое для вѣншихъ впечатлѣній сердце; «іудей» тоскуетъ, и эта внутренняя тоска, эта постоянная неудовлетворенность закрываютъ отъ него красоту міра...

Герценъ былъ чистымъ эллиномъ. Изъ своихъ исканій и сомнѣній онъ вышелъ чистымъ позитивистомъ. Впослѣдствіи онъ видѣлъ въ мистикахъ лишь страдальцевъ, нестумѣвшихъ преобразовать свое страданіе въ протестъ и борьбу, но глубоко всосавшихъ его въ свое сердце. Онъ могъ уважать ихъ, но онъ не любилъ, а только жалѣлъ.

«Я—пишетъ онъ напр.—встрѣтилъ въ жизни много мистиковъ въ разныхъ родахъ, отъ Витберга и послѣдователей Товянскаго, принимавшихъ Наполеона за военное воплощеніе Бога и снимавшихъ шляпу, проходя мимо Вандомской колонны, до забытаго теперь Мапа, который самъ мнѣ рассказывалъ свое свиданіе съ Богомъ, случившееся на дорогѣ между Монморанси и Парижемъ. Всѣ они большею частью люди нервные, дѣйствовали на нервы, поражали фантазію и сердце, мѣшали философскія понятія съ произвольной символикой и не любили выходить на *чистое поле* логики.»

Но, разумѣется, такой исходъ изъ сомнѣній не могъ хорошо отразиться на семейной жизни. Наталья Александровна — натура религіозная, экзальтированная, чудная въ минуты самоотреченія, тяжелая въ обыденныя, не приспособленная для счастья и инстинктивно ищущая страданія, какъ исцѣляющей и искупляющей силы, не могла не чувствовать, что ея роль въ жизни «кумира»-мужа кончена. Передъ ними лежали уже разные дороги. Она любила Герцена попрежнему, быть можетъ, сильнѣе прежняго, но она чувствовала уже свою «духовную» ненужность для него. Пять лѣтъ прожили вмѣстѣ, но темпераментъ, натура оказались сильнѣе. Побѣдили *они*, не *она*...

«Разъ,—рассказываетъ Герценъ,—возвратился я домой поздно вечеромъ; она была уже въ постели, я взомелъ въ спальную. Я ходилъ молча по комнатѣ, перебирая слышанную мною неприятную новость, вдругъ мнѣ показалось, что Natalie плачетъ; я взялъ ея платокъ—онъ былъ совершенно измоченъ слезами. «Что съ тобой?» спросилъ я, испуганный и потрясенный. Она взяла мою руку и, голосомъ полнымъ слезъ, сказала мнѣ: «Другъ мой, я скажу тебѣ правду; можетъ это самолюбіе, эгоизмъ, сумасшествіе, но я чувствую, вижу, что не могу развлечь тебя; тебѣ скучно — я понимаю это, я оправдываю тебя, но мнѣ больно, больно, и я плачу. Я знаю, что ты меня любишь, что тебѣ меня жаль, но ты не знаешь, откуда у тебя тоска, откуда это чувство пустоты: ты чувствуешь бѣдность твоей жизни, и въ самомъ дѣлѣ—*что я могу сдѣлать для тебя?*»

«Я былъ похожъ на человѣка, котораго вдругъ разбудили среди ночи и сообщили ему, прежде чѣмъ онъ совершенно проснулся, что-то страшное: онъ уже напуганъ, дрожитъ, но не понимаетъ, въ чемъ дѣло. Я былъ такъ вполне покоенъ, такъ увѣренъ въ нашей полной

глубокой любви, что и не говорилъ объ этомъ; это было великое *подразумываемое* всей жизни нашей; покойное сознание, безпредѣльная увѣренность, исключаяющая сомнѣнія, даже неуѣренность въ себя — составляли основную стихію моего личнаго счастья. Покой, отдохновеніе, художественная сторона жизни, все это было какъ передъ нашей встрѣчей на кладбищѣ 9 мая 1838 г., такъ въ началѣ владимірской жизни — въ ней, въ ней и ней...

«Мое глубокое удивленіе, мое огорченіе сначала разсѣяли эти тучи, но черезъ мѣсяцъ, черезъ два онѣ стали возвращаться. Я успокаивалъ ее, утѣшалъ; она сама улыбалась надъ черными призраками, и вновь солнце освѣщало нашъ уголокъ; но только что я забывалъ ихъ, они опять подымали голову, совершенно ничѣмъ не вызванные, и когда они проходили, я впередъ боялся ихъ возвращенія.

«Таково было расположеніе духа, въ которомъ мы, въ іюлѣ 1842 года, переѣхали въ Москву.»

«Въ сущности только съ 1842 года, т. е. съ переѣзда въ Москву, началась литературная дѣятельность Герцена. Годы исканія и броженія прошли; принимаясь теперь за перо, Герценъ уже твердо зналъ, что ему писать и во имя чего писать. »

Въ Москвѣ онъ опять попалъ въ кружокъ, въ которомъ сосредоточились всѣ лучшія интеллигентныя силы Россіи того времени. Огаревъ, правда, большую часть времени находился за границей, но его мѣсто занялъ Грановскій. Изъ Петербурга наѣзжалъ Бѣлинскій.

«Такого круга людей талантливыхъ, развитыхъ, многостороннихъ и чистыхъ, — вспоминалъ много лѣтъ спустя Герценъ, — я не встрѣчалъ потомъ нигдѣ, ни на высшихъ вершинахъ политическаго міра, ни на послѣднихъ маковкахъ литературнаго и аристократическаго. А я много ѣздилъ, вездѣ жилъ и со всѣми жилъ: революціей меня прибило къ тѣмъ краямъ развитія, даѣе которыхъ ничего нѣтъ, и я по совѣсти долженъ повторить то же самое.»

Сороковые годы самые богатые и памятные въ умственномъ развитіи Россіи. Я уже говорилъ раньше, что это — годы перелома. Безбрежныя, какъ море, неопредѣленныя, какъ очертанія предметовъ въ сумерки, романтическія мечтанія закончились. Мысль выбралась на широкую, ясную дорогу и впервые сознала, куда она идетъ и что ей нужно. Она возненавидѣла крѣпостное право, повернулась за любовью и вдохновеніемъ къ народу и дала рѣшительную битву матери всѣхъ пороковъ, — національному самодовольству. Нужно ли говорить, что среди людей, сыгравшихъ эту громкую историческую роль, Бѣлинскій, Герценъ и Грановскій занимаютъ первое

мѣсто. Каждый изъ нихъ внесъ свое въ общее дѣло, каждый изъ нихъ дополнялъ другъ друга.

Личности Грановскаго намъ нельзя миновать, и мы сейчасъ же познакоимся съ ней.

Грановскій былъ одаренъ удивительнымъ тактомъ сердца. У него все было такъ далеко отъ неувѣренной въ себѣ раздражительности, такъ чисто, такъ открыто, что съ нимъ чувствуешь себя необыкновенно легко. Онъ не стѣснялъ дружбой, а грѣлъ ею, вдохновлялъ ею. Никто не помнитъ, чтобы Грановскій когда нибудь хоть разъ въ письмѣ или разговорѣ дотронулся до тѣхъ нѣжныхъ, бѣгущихъ отъ свѣта и шума, сторонъ, которыя есть у каждого чело-вѣка, жившаго въ самомъ дѣлѣ. Онъ былъ «добрый» въ широкомъ, лучшемъ смыслѣ этого слова.

«Въ его любящей, покойной и снисходительной душѣ исчезали угловатая распри и смягчался крикъ себялюбивой обидчивости. Онъ былъ между нами звеномъ соединенія многого и многихъ и часто примирялъ въ симпатіи къ себѣ цѣлыя кружки, враждовавшіе между собой, и друзей, готовыхъ разойтись. Грановскій и Бѣлинскій, вовсе не похожіе другъ на друга, принадлежали къ самымъ свѣтлымъ личностямъ нашего круга.»

Грановскій не былъ ни боецъ, какъ Бѣлинскій, ни діалектикъ, какъ Бакунинъ. Его сила была не въ рѣзкой полемикѣ, не въ смѣломъ отрицаніи, а именно въ положительномъ нравственномъ вліяніи, въ безусловномъ довѣріи, которое онъ вселялъ, въ художественности его натуры, въ покойной ровности его духа, въ чистотѣ его характера и въ постоянномъ глубокомъ протестѣ противъ всякаго насилія. Не только слова его дѣйствовали, но и его молчаніе: мысль его, не имѣя права высказаться, выступала такъ ярко въ чертахъ его лица, что ее трудно было не прочесть. Въ мрачную годину гоненій на университетъ Грановскій сумѣлъ сохранить не только каедрю, но и свой независимый образъ мыслей, и это потому, что въ немъ съ рыцарской отвагой, съ полной преданностью страстнаго убѣжденія стройно сочетались: женская нѣжность, мягкость формъ и какой-то особенный духъ примиренія.

«Грановскій—говоритъ Герценъ—напоминаетъ мнѣ рядъ задумчиво покойныхъ проповѣдниковъ временъ реформаціи, не тѣхъ бурныхъ, грозныхъ, которые въ гнѣвѣ своемъ чувствуютъ исполнѣ свою жизнь, какъ Лютеръ, а тѣхъ ясныхъ, кроткихъ, которые такъ же просто надѣвали вѣнокъ славы на свою голову, какъ и терновый вѣнокъ. Они невозможно тихо идутъ твердымъ шагомъ, но не топаютъ;

людей этихъ боялся судья, имъ съ ними неловко; ихъ примирительная улыбка оставляетъ по себѣ угрызенія совѣсти у самихъ палачей. Таковъ былъ Колинъ, лучшіе изъ жирондистовъ, и дѣйствительно Грановскій по всему строенію своей души, по ея романтическому складу, по нелюбви къ крайностямъ скорѣе былъ бы гугенотъ и жирондистъ, чѣмъ анабаптистъ и монтаньяръ.»

Развитіе Грановскаго шло мирно, покойно, органически. Воспитанный въ Орлѣ, онъ попалъ въ Петербургскій университетъ. Получая отъ отца мало денегъ, онъ съ молодыхъ лѣтъ долженъ былъ писать по подряду журнальныя статьи. Собственно бурнаго періода страстей и разгула въ его жизни не было. Послѣ курса педагогическій институтъ послалъ его въ Германію. Вернувшись оттуда, въ 1844 г. Грановскій началъ читать свои знаменитыя публичныя лекціи по средневѣковой исторіи Франціи и Англіи. «Лекціи Грановскаго,—сказалъ Чаадаевъ, выходя съ третьяго или четвертаго чтенія изъ аудиторіи, биткомъ набитой дамами и всѣмъ московскимъ свѣтскимъ обществомъ,—имѣютъ историческое значеніе». Это совершенно справедливо. Грановскій сдѣлалъ изъ аудиторіи гостиную, мѣсто свиданія, встрѣчи всего beau mond'a. Но для этого онъ не украсилъ исторіи, не наложилъ на нее ни румянъ, ни бѣлилъ — совсѣмъ напротивъ — его рѣчь была строга, чрезвычайно серьезна, исполнена силы, смѣлости и поэзіи, которыя мощно потрясали слушателей, будили ихъ. Смѣлость его сходилла ему съ рукъ не отъ уступокъ, а отъ кротости выраженій, которая была ему такъ естественна, отъ отсутствія сентенцій à la française, ставящихъ огромныя точки на крошечныя і вродѣ правоученій послѣ басни. Излагая событія, художественно группируя ихъ, онъ говорилъ ими, такъ что мысль, не высказанная имъ, но совершенно ясная, представлялась тѣмъ знакомѣе слушателю, что она казалась его собственной мыслью.

«Заключеніе перваго курса—разсказываетъ Герценъ—было для него настоящей оваціей, вѣщью, неслыханной въ Московскомъ университетѣ. Когда онъ, оканчивая, глубоко тронутый благодарилъ публику—все вскочило въ какомъ то опьяненіи: дамы махали платками, другія бросились къ каедрѣ, жали ему руки, требовали его портрета. Я самъ видѣлъ молодыхъ людей съ раскраснѣвшими щеками, кричавшихъ сквозь слезы: «браво!» «браво!». Выйти не было возможности. Грановскій, блѣдный какъ полотно, сложа руки, стоялъ, слегка склоняя голову; ему хотѣлось сказать еще нѣсколько словъ, но онъ не могъ. Трескъ, вопль, неистовство одобренія удвоились; студенты построились на лѣстницѣ,—въ аудиторіи они предоставили

шумѣть гостямъ. Грановскій пробрался измученный въ совѣтъ; черезъ нѣсколько минутъ его увидѣли снова выходящаго изъ совѣта, и снова безконечное рукоплесканіе; онъ воротился, прося рукой пощады и изнемогая отъ волненія... Я увидѣлъ его, бросился ему на шею и мы заплакали.»

Статьи Бѣлинскаго, Герцена, лекціи Грановскаго—все это будило, тревожило, звало впередъ. Всѣ трое работали дружно, въ томъ же направленіи. Въ какомъ? Вдохновенный чтеніями Грановскаго, Герценъ писалъ о нихъ изъ Москвы:

«Главный характеръ чтеній Грановскаго: чрезвычайно развитая человѣчность, сочувствіе, раскрытое ко всему живому, сильному, поэтичному, сочувствіе, готовое на все отозваться; любовь широкая и многообъемлющая, любовь къ возникающему, которое онъ радостно привѣтствуетъ, и любовь къ умирающему, которое онъ хоронитъ со слезами. Нигдѣ, ничему не вырвалось слова ненависти въ его чтеніяхъ; онъ проходилъ мимо гробовъ, вскрывалъ ихъ,—но не оскорбилъ усопшихъ. Дерзкая мысль поправлять царственное теченіе жизни человѣчества—далека была отъ его наукообразнаго взгляда; онъ вездѣ покорялся объективному значенію событій и стремился только раскрыть смыслъ ихъ. Мнѣ кажется, что именно этотъ характеръ преподаванія возбудилъ такое сильное участіе общества къ чтеніямъ Грановскаго. Умѣть во всѣхъ вѣкахъ, у всѣхъ народовъ, во всѣхъ проявленіяхъ найти съ любовью родное, человеческое, не отказаться отъ братій, въ какомъ бы они рубищѣ ни были, въ какомъ бы неразумномъ возрастѣ мы ихъ ни застали, видѣть сквозь туманныя испаренія временнаго просвѣчиваніе вѣчнаго начала, т. е. вѣчной цѣли—великое дѣло для историка.»

Отсутствіе ненависти къ Западу и національнаго самохвальства, вмѣстѣ съ искренней, горячей любовью къ наукѣ, знанію, мысли—вотъ что одушевляло и самого профессора, и его блестящую аудиторию. Грановскаго обвиняли въ пристрастіи къ Западу; онъ отвѣчалъ на это: «я взялся читать часть его исторіи и не вижу, почему долженъ читать ее съ ненавистью.» «Западъ вродавымъ потомъ выработалъ свою исторію, плоды ея достались намъ почти даромъ, *нѣтъ права не любить ея*».

Удивительную эпоху государственнаго самодовольства переживала тогда Россія. Она третировала Западъ, гордо увѣренная, что сильнѣе, богаче, нравственнѣе его. Она застыла въ старыхъ формахъ своей жизни и провозгласила ихъ совершенными. А въ это же время кучка людей, рискуя всѣмъ, продолжала твердить ей, что у насъ нѣтъ права не любить Европы, не учиться у нея...

Грановскій кончилъ грустно и рано. Его предсмертныя письма Герцену исполнены тоски...

«Положеніе наше—писалъ онъ въ 1850 г.—становится нестерпимѣе день ото дня. Всякое движеніе на Западѣ отзывается у насъ стѣснительной мѣрой. Доносы идутъ тысячами. Обо мнѣ втеченіе трехъ мѣсяцевъ два раза собирали справки. Но что значить личная опасность въ сравненіи съ общимъ страданіемъ и гнетомъ. Университеты предполагають закрыть; теперь ограничили слѣдующими уже приведенными въ исполненіе мѣрами: возвысили плату со студентовъ и уменьшили ихъ число закономъ, по которому не можетъ быть въ университетѣ больше 300 студентовъ. Дворянскій институтъ закрыть, многимъ заведеніямъ грозить та же участь, напр. Липею. Для кадетскихъ корпусовъ составлены новыя программы. Иезуиты позавидовали бы военному педагогу, составителю этой программы. Священнику предписано внушать кадетамъ, что величіе Христа заключалось преимущественно въ покорности властямъ. Онъ выставляется образцомъ подчиненія и дисциплины. Учитель исторіи долженъ разоблачать мишурныя добродѣтели древнихъ республикъ и показывать величіе непонятой историками римской имперіи, которой недоставало только одного — наслѣдственности... Есть съ чего сойти съ ума. Благо Бѣлинскому, умершему во время! Много порядочныхъ людей впали въ отчаяніе и съ тупымъ спокойствіемъ смотрятъ на происходящее — когда же развалится этотъ міръ? Я рѣшился не идти въ отставку и ждать на мѣстѣ совершенія судебъ. Кое что можно дѣлать. Пусть выгоняютъ сами. Вчера пришло извѣстіе о смерти Галахова, а на-дняхъ разнесся слухъ и о твоей смерти. Когда мнѣ сказали это, я готовъ былъ хохотать отъ всей души. А впрочемъ,—чѣмъ это было бы глупѣе остального?»

Но въ то время, до котораго мы довели нашъ рассказъ (1843 г.), тоска не успѣла еще овладѣть Грановскимъ, вымотать его душу и усадить за зеленый столъ рядомъ съ шулерами и рыцарями легкой наживы. Онъ былъ молодъ, впереди, казалось, ожидало такъ много труда, славы, счастья. Даже въ своемъ университетскомъ кружкѣ Грановскій находилъ поддержку и сочувствіе. Онъ былъ не одинъ, а въ числѣ нѣсколькихъ молодыхъ профессоровъ, возвратившихся изъ Германіи въ періодъ 35—40 г.г. Всѣ они сильно двинули университетъ Московскій, и исторія ихъ не забудетъ. Люди добросовѣстной учености, ученики Гегеля, Ганса, Риттера и др., они слушали ихъ именно въ то время, когда «остовъ діалектики сталъ обростать мясомъ», когда наука перестала считать себя противоположною жизни, когда Гансъ приходилъ на лекцію не съ древнимъ фоліантомъ въ рукахъ, а съ послѣдней книжкой лондонскаго или парижскаго журнала. Діалектическимъ построеніемъ пробоваѣли тогда рѣ-

шить историческіе вопросы въ современности: это было невозможно, но привело факты къ болѣе свѣтлому сознанію. Молодые профессора привезли съ собою эти завѣтные мечты, горячую вѣру въ науку и людей; они сохранили весь пылъ юности, и кафедръ были для нихъ святыми наложными, съ которыхъ они были призваны благовѣстити истину; они являлись въ аудиторіяхъ не цеховыми учеными, а миссіонерами человѣческой религіи...

«И гдѣ — спрашиваетъ Герценъ — вся эта плеяда молодыхъ доцентовъ, начиная съ лучшаго изъ нихъ — Грановскаго? Милый, блестящій, умный, ученый Крюковъ умеръ въ 35 отъ роду. Эллинистъ Печоринъ побился-побился, не вытерпѣлъ и ушелъ безъ цѣли, безъ средствъ, надломленный и больной, въ чужіе края, свитался безпріютнымъ сиротой, сдѣлался іезуитомъ и жжеть протестантскія библіи въ Ирландіи. Рѣдкинъ служить въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ и пишетъ статьи съ текстами... Крыловъ — по довольно... *La toile, la toile!*»

*
* * *

Кружокъ жилъ, работалъ, боролся. Онъ собирался чаще всего у Герцена. Рядомъ съ болтовней, шуткой,ужиномъ и виномъ шелъ самый быстрый, самый дѣятельный обмѣнъ мыслей, знаній и новостей; каждый передавалъ прочтенное и узнанное; споры обобщали взгляды, и выработанное каждымъ дѣлалось достояніемъ всѣхъ. Ни въ одной области вѣдѣнія, ни въ одной литературѣ, ни въ одномъ искусствѣ не было значительнаго явленія, которое не попало бы кому нибудь на глаза и не было бы тотчасъ сообщено всѣмъ.

«Вотъ этотъ характеръ нашихъ сходокъ, — говоритъ Герценъ, — не понимали тупые педанты и тяжелые школяры. Они видѣли мясо и бутылки и не видѣли ничего другого. Пиръ ведетъ къ полнотѣ жизни; люди воздержанные бываютъ обыкновенно сухіе, эгоистическіе люди. Мы не были монахи, мы жили во всѣ стороны и, сидя за столомъ, побольше развились и сдѣлали не меньше, чѣмъ эти постные труженики, копающіеся на заднемъ дворѣ науки.»

Жизнь шла кипучая, веселая, дѣятельная; шла, повторяю, и борьба. Рядомъ съ кружкомъ Грановскаго и Герцена были ихъ противники — московскіе славянофилы или, какъ ихъ называли, «славяне». Западники и славяне не столько не любили другъ друга, — напротивъ, въ личныхъ отношеніяхъ они часто бывали пріятелями, — сколько не понимали, да и не могли понять другъ друга.

Славянъ было много; это честные, умные, образованные люди,

но безъ отчетливаго взгляда на жизнь, безъ опредѣленной программы. Они не держались на точкѣ зрѣнія исторіи, не спрашивали себя, что возможно и невозможно; какъ теперь Левъ Толстой, они проповѣдывали свое знаменитое «захотѣть»... Захотѣть, почувствовать и вернуться къ формамъ давно минувшаго быта, къ народу и его нравственнымъ и общественнымъ устоямъ, какъ будто это такъ же легко было сдѣлать, какъ надѣть вмѣсто платья сарафанъ, вмѣсто цилиндра—мурмолку, и пальто—охабень. Какіе бы мотивы ни руководили славянофилами, въ ихъ проповѣди было что то затхлое. вымученное, какое-то плохо улегшееся страданіе. Вѣдь намъ не къ чему возвращаться. Государственная жизнь допетровской Россіи бѣдна, уродлива, дика, а къ ней-то и звали славяне, хотя и не признавались въ этомъ. Но если *не звали*, то какъ же объяснить съ археологическія воскрешенія, поклоненія правамъ и обычаямъ прежняго времени и самыя попытки возвратиться не къ современной одеждѣ крестьянъ, а къ стариннымъ неуклюжимъ *боярскимъ* костюмамъ? Во всей Россіи, кромѣ славянофиловъ, никто не носилъ мурмолокъ. К. Аксаковъ одѣлся такъ національно, что народъ на улицахъ принималъ его за персіянина, какъ рассказывалъ шути Чаадаевъ.

«Возвращеніе къ народу—говорить Герценъ—«славяне» поняли такъ же грубо — въ томъ же родѣ, какъ большая часть западныхъ демократовъ, принимая его совсѣмъ готовымъ. Они полагали, что дѣлать предразсудки народа—значить быть съ нимъ въ единствѣ; что жертвовать своимъ разумомъ, вмѣсто того, чтобы развивать разумъ въ народѣ—великій актъ смиренія. Отсюда натянутая набожность, исполненіе обрядовъ, которые при наивной вѣрѣ трогательны, и оскорбительны, когда въ нихъ видна преднамѣренность. Лучшее доказательство, что возвращеніе славянъ къ народу не было дѣйствительнымъ, состоитъ въ томъ, что они не возбудили въ немъ никакого сочувствія.»

Я уже упоминалъ выше, что надѣ К. Аксаковымъ, несмотря на его мурмолку, смѣялись на улицахъ, а мальчишки бѣгали за нимъ толпой. Мужичка не такъ-то легко соблазнить и привлечь на свою сторону, барствуя въ его роли. Онъ вѣдь скептикъ и себѣ на умѣ. Даже Л. Толстой, одѣтый въ его тулупъ, его армякъ и его рубаху, заслуживаетъ въ большинствѣ случаевъ отъ народа совсѣмъ равнодушное: «дѣло барское».

«Ошибка славянъ—продолжаетъ Герценъ—состояла въ томъ, что имъ кажется, будто Россія имѣла когда-то собственное ей разви-

тіе, затемненное разными событиями и наконецъ петербургскимъ періодомъ. Россія никогда не имѣла этого развитія и не могла имѣти. То, что приходитъ теперь къ сознанию у насъ; то, что начинается въ мысли, въ предчувствіи; то, что существовало безсознательно въ крестьянской избѣ и на полѣ,—то теперь только всходитъ на пажитяхъ исторіи, утучненныхъ кровью, слезами и потокомъ двадцати поколѣній»...

«Это основы нашего быта—не воспоминанія, это живыя стихіи, существующія не въ лѣтописяхъ, а въ настоящемъ, но онѣ только уцѣлѣли подъ труднымъ историческимъ выработываніемъ государственнаго единства и подъ государственнымъ гнетомъ только сохранились, но не развились. Я даже сомнѣваюсь, нашлись ли бы внутреннія силы для ихъ развитія безъ петровскаго періода, безъ періода европейскаго образованія. Непосредственныхъ основъ было недостаточно. Въ Индіи до сихъ поръ и споконъ вѣка существуетъ сельская община, очень сходная съ нашей и основанная на раздѣлѣ полей; однако индійцы съ ней недалеко ушли. *Одна мощная мысль Запада, къ которой примыкаетъ вся исторія его, въ состояніи оплодотворить зародыши, дремлющіе въ патриархальномъ быту славянскомъ.* Артель и сельская община, ростъ прирѣтка и раздѣлъ полей, мирская сходка и соединеніе сель въ волости, управляющіяся сами собою,—все это краеугольные камни, на которыхъ соиздается хранина нашего будущаго свободно общиннаго быта. Но эти краеугольные камни—все же камни... и безъ западной мысли должны остаться при одномъ фундаментѣ... Такова судьба всего истинно соціальнаго, оно невольно влечетъ къ круговой поруцѣ народовъ... Отчуждаясь, обособляясь, одни остаются при дикомъ общинномъ бытѣ, другіе при отвлеченной мысли коммунизма.»

Круговая порука народовъ, западная могучая мысль, оплодотворяющая общинныя формы быта, свобода мысли и разума на почвѣ экономической обезпеченности—эту-то программу противопоставлялъ кружокъ Герцена славянофильской. Споръ, какъ видно, происходилъ не изъ пустяковъ, и каждое слово сыграло свою историческую роль. Въ сознаніи нарождался манифестъ 19-го февраля, и онъ-то, добавленный и расширенный судебными, административными и народно-образовательными реформами, удѣлилъ западничеству значительную дозу будущаго.

Но и «славяне» не были разбиты совѣмъ на голову. Ихъ проповѣдь тоже не безъ камня краеугольнаго, ихъ идеи не безъ оплодотвореннаго сѣмени. Дѣло не въ охабняхъ, дѣло не въ мурмолахъ, а въ вопросѣ—неужели же выбросить въ бездну прошлаго все, чѣмъ жили двадцать поколѣній? Это по меньшей мѣрѣ не разсчитливо. Отдѣлить добро отъ зла, свято сохранить все доброе, безъ

колебаній, мужественно разстаться со всѣмъ злымъ, чернымъ, войти въ историческую жизнь Европы съ запасомъ *своего* опыта, *своихъ* впечатлѣній, *своихъ* формъ жизни—вотъ то примиреніе противорѣчій, на которомъ, казалось, могли бы сойтись обѣ партіи. Онѣ и сошлись на самомъ дѣлѣ, хотя въ лицѣ лишь немногихъ лучшихъ своихъ представителей. x

* * *

Борьба проникала и внутрь кружка. Въ немъ были слишкомъ живые, впечатлительные люди, чтобы отлить свою мысль въ какую нибудь определенную форму и сотворить себѣ изъ нея кумирь. Индивидуальности, несмотря на общность главныхъ убѣжденій, проявлялись рѣзко. Это вело къ размолвкамъ, иногда къ разладу. Герценъ опредѣлился скорѣе, отчетливѣе и непримиримѣе другихъ. Зная его натуру, его характеръ,—это можно было ожидать.

Черезъ три-четыре года по возвращеніи въ Москву онъ самъ съ глубокой горестью сталъ замѣчать, что, идучи изъ однихъ и тѣхъ же началъ, друзья приходили къ разнымъ выводамъ, и это не потому, что разное понимались начала, а потому, что выводы не одинаково всѣмъ нравились. Сначала споры шли полусушня, но уже по нѣкоторымъ рѣзкимъ фразамъ, вырывавшимся у спорящихъ, можно было догадаться, что на шуткахъ дѣло не остановится. Споръ ни больше, ни меньше происходилъ на почвѣ вѣчныхъ вопросовъ о безсмертіи души и существованіи Бога...

«Эти вопросы,—говоритъ Герценъ,—тѣ гранитные камни преткновенія на дорогѣ знанія, которые во всѣ времена были одни и тѣ же, пугали людей и манили къ себѣ. И такъ, какъ либерализмъ, послѣдовательно проведенный, непременно поставитъ человека лицомъ къ лицу съ социальнымъ вопросомъ, такъ наука, если только вѣрится ей безъ якоря,—непременно прибьетъ его своими волнами къ сѣдымъ утесамъ, о которые бились, отъ семи греческихъ мудрецовъ до Канта и Гегеля, всѣ державшіе думать.»

* Кромѣ Бѣлинскаго, Герценъ теоретически расходился со всѣми—особенно съ Грановскимъ и Кетчеромъ. Произошла непріятная сцена.

Это случилось въ 1846 г., когда почти весь кружокъ въ полномъ своемъ составѣ гостилъ у Герцена въ Соколовѣ.

«Первое время послѣ пріѣзда друзей—читаемъ мы въ «Быломъ и Думахъ»—прошло въ чаду и одушевленіи праздниковъ; не успѣли они миновать, какъ занемогъ мой отецъ. Его кончина, хлопоты,

дѣла—все это отвлекало отъ теоретическихъ вопросовъ. Въ тиши соколовской жизни наши разногласія должны были придти къ слову. Огаревъ, не видѣвшій меня четыре года, былъ совершенно въ томъ же направленіи, какъ я (т. е. въ отрицательномъ). Мы разными путями прошли тѣ же пространства и очутились вѣстѣ. Споры становились чаще, возвращались на тысячу ладовъ. Разъ мы обѣдали въ саду, Грановскій читалъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» одно изъ моихъ писемъ объ изученіи природы, и былъ имъ чрезвычайно доволенъ.

— Да что же тебѣ нравится,—спросилъ я его,—неужели одна наружная отдѣлка? Съ внутреннимъ смысломъ его ты не можешь быть согласенъ.

— Твои мнѣнія,—отвѣтилъ Грановскій,—точно такъ-же историческій моментъ въ наукѣ мышленія, какъ и самыя писанія энциклопедистовъ. Мнѣ въ твоихъ статьяхъ нравится то, что мнѣ нравится въ Вольтерѣ или Дидро; они живо, рѣзко затрагиваютъ такіе вопросы, которые будятъ человѣка и толкаютъ впередъ, ну, а во всѣхъ односторонности твоего воззрѣнія я не хочу вдаваться. Развѣ кто нибудь говоритъ теперь о теоріяхъ Вольтера?

— Неужели же нѣтъ никакого мѣрила истины и мы будимъ людей лишь для того, чтобы сказать имъ пустяки?

Такъ продолжался довольно долго разговоръ. Наконецъ я замѣтилъ, что развитіе науки, что современное состояніе ея обязываетъ насъ къ принятію кое-какихъ истинъ независимо отъ того, хотимъ ли мы, или нѣтъ; что однажды узнанныя, онѣ перестаютъ быть историческими загадками, а становятся неопровержимыми истинами, фактами сознанія, какъ Евклидовы теоремы, какъ Кеплеровы законы, какъ нераздѣльность причины и дѣйствія, духа и матеріи.

— Все это такъ мало обязательно,—возразилъ Грановскій, немного измѣняясь въ лицѣ,—что я никогда не приму вашей сухой, холодной мысли единства тѣла и духа; съ ней исчезаетъ безсмертіе души. Можетъ быть его не надобно, но я такъ много скоронилъ, чтобы поступиться этой вѣрой. Личное безсмертіе мнѣ необходимо.

— Славно было бы жить на свѣтѣ,—сказалъ я,—еслибы все то, что кому нибудь надобно, сейчасъ и было тутъ какъ тутъ на манеръ сказокъ.

— Подумай, Грановскій,—прибавилъ Огаревъ,—вѣдь это своего рода бѣгство отъ несчастія.

— Послушайте,—возразилъ Грановскій, блѣдный и придавая себѣ видъ посторонняго,—вы меня искренне обяжете, если не будете никогда говорить со мной объ этихъ предметахъ; мало ли есть вещей занимательныхъ и о которыхъ говорить гораздо полезнѣе и пріятнѣе.

— Изволь, съ величайшимъ удовольствіемъ!—сказалъ я, чувствуя холодъ на лицѣ. Огаревъ промолчалъ. Мы всѣ взглянули другъ на друга, и этого взгляда было совершенно достаточно; мы слишкомъ любили другъ друга, чтобы не вымѣрять вполнѣ, что произошло...

Произошло на самомъ дѣлѣ вѣчто серьезное и грустное. Быть можетъ Герценъ былъ слишкомъ рѣзокъ и холокъ въ своихъ отвѣ-

тахъ, не сьумѣлъ пощадить Грановскаго въ эту минуту, но онъ безусловно правъ по существу. Неужели же у себя, въ своемъ кружкѣ, среди родныхъ и близкихъ, надо еще спрашивать, что и какъ говорить? Это уже слишкомъ обидно, слишкомъ больно. Если бы еще было неминуемое дѣло, которое бы совершенно поглощало всѣхъ, тогда ради осуществленія можно бы уступить. Но здѣсь исключительно сфера мысли, убѣжденій, «гдѣ лишь абсолютная свобода порождаетъ истину».

Прошло немного лѣтъ — Грановскій приблизился къ Герцену, хотя ему пришлось за эти немногіе годы схоронить еще больше и утратить почти все. Онъ понялъ, что утѣшеніе оттуда, откуда онъ ждалъ его, придти не можетъ. Онъ сдался. Но въ *ту* минуту дѣло оказалось непоправимымъ.

«Трещина,—говоритъ Герценъ,—которую дала одна изъ стѣнъ нашей дружеской храмины, увеличивалась, какъ всегда бываетъ, мелочами, недоразумѣніями, ненужной откровенностью тамъ, гдѣ лучше было бы молчать, и вреднымъ молчаніемъ тамъ, гдѣ необходимо было говорить.»

Огаревъ и Герценъ опять остались одни. Ихъ дружба не боялась ни вѣтра, ни трещинъ, ни испытаній.

УІІІ.

Литературная дѣятельность А. И. Герцена.

Чтобы понять разладъ, описанный въ предыдущей главѣ, намъ необходимо не надолго прервать наше изложеніе и охарактеризовать какъ общій ходъ развитія Герцена, такъ и его литературную дѣятельность—въ первомъ ея періодѣ, т. е. до 1846 года.

Въ дѣтской кровати онъ засыпалъ подѣ рассказъ своей старой няни Вѣры Артамоновны объ ужасахъ 12-го года. Сцены пожара и московскаго разоренія тревожили его дѣтскую фантазію, уносили ее на развалины столицы и заставляли воображать себя героемъ со шпагой въ рукахъ,—героемъ, передъ которымъ ницѣ падаютъ безчисленные враги. М-ше Прово—другая няня—то и дѣло вспоминала о временахъ французской революціи, о томъ, какъ ея бѣднаго «*m-eur Provost*» чуть-чуть не повѣсили на фонарѣ. «Шумъ, гамъ при этомъ были ужасные», передавалъ рассказъ своей няни маленькій Герценъ и мечталъ о томъ, что сталъ бы онъ дѣлать, попали онъ самъ въ этотъ шумъ и гамъ. На первыхъ порахъ было достаточно, повидимому, снять съ фонаря бѣднаго *m-eur* Прово, а тамъ опять шпагу въ руки и верхомъ на настоящей лошади на полчища враговъ. Фантазія работала постоянно и притомъ все въ томъ же направленіи дѣятельнаго героизма, шумныхъ и громкихъ подвиговъ. «Старые генералы» помогали развитію тѣхъ же чувствъ, инстинктовъ. Эти старые генералы—товарищи отца Герцена по полку и герои 12-го года—наполняли мрачный и тихій, точно вымершій при эпидеміи, домъ Ивана Алексѣевича своими громкими разсказами о набѣгахъ, атакахъ, сраженіяхъ, о Бородинѣ и Шевардинѣ, Малоярославцѣ и Березинѣ. Маленькій Герценъ любилъ ихъ слушать по часамъ, особенно Милорадовича, забывшись на ди-

ванъ. Въ 12—13 годамъ онъ былъ настроенъ совсѣмъ какъ герой, а тутъ еще чтеніе «Робинзона», «Тысячи и одной ночи». Четырнадцатое декабря, хотя о немъ говорили шепотомъ, а Иванъ Алексѣевичъ и совершенно умалчивалъ о немъ, какъ chose étrange, пройдя черезъ лакейскую, прихожую и сумрачныя барскія комнаты, донеслось однако и до дѣтской. Герценъ взбунтовался, не спать цѣлыя ночи. Богъ вѣсть почему все его сердце — сердце маленькаго впечатлительнаго мальчика — принадлежало цѣликомъ цесаревичу Константину, о добровольномъ отреченіи котораго отъ престола въ то время мало кто зналъ достовѣрное.

Я уже упоминалъ выше, что среди учителей Герцена былъ нѣкто И. Е. Протопоповъ, — тотъ самый, который утверждалъ, начиная преподавать реторику, что вся она не стоитъ 10 строкъ Пушкина и что преподаваніе ея весьма бесполезно. Герценъ сообщилъ ему о своихъ мысляхъ. Протопоповъ былъ тронутъ и, уходя, обнялъ мальчика со словами: «дай Богъ, чтобы эти чувства любви къ угнетеннымъ созрѣли въ васъ и укрѣпились». Послѣ этого онъ приносилъ своему ученику мелко переписанныя и сильно затертые тетради запрещенныхъ стиховъ Пушкина, «Оду на свободу», «Кинжалъ», «Думы» Рылѣева. Это было упоительнымъ чтеніемъ, какъ тайный плодъ. Героическій романтизмъ росъ въ душѣ, — Шиллеръ закончилъ эту часть воспитанія.

Трогательныя строки, посвященныя германскому поэту-идеалисту, находимъ мы въ «Запискахъ»:

«Шиллеръ, благословляю тебя, тебѣ обязанъ я святыми минутами начальной юности. Сколько слезъ лилось изъ глазъ моихъ на твои поэмы! Какой алтарь я воздвигнулъ въ душѣ моей! Ты по превосходству поэтъ юности. Тотъ же мечтательный взоръ, обращенный на одно будущее, туда, туда! тѣ же чувства благородныя, энергическія, увлекающія, та же любовь къ людямъ и та же симпатія къ современности. Однажды взявъ Шиллера въ руки, я не покидалъ его и теперь въ грустныя минуты, его чистая пѣснь врачуетъ меня. Долго ставилъ я Гёте ниже его. Для того, чтобы умѣть понимать Гёте и Шекспира, надобно, чтобы всѣ способности развернулись, надобно познакомиться съ жизнью, надобны грозныя опыты, надобно пережить страданія Фауста, Гамлета, Отелло!...»

При торжественныхъ побѣдныхъ звукахъ поэзіи Шиллера началась юность, дружба съ Огаревымъ, первая любовь. Все, и Шиллеръ, и семейный гнетъ, и долгое одиночество, предвѣщало повидимому, что изъ Герцена выйдетъ честный, добрый мечтатель вроде

Грановскаго, Станкевича, Кирѣевскаго, словомъ—одинъ изъ идеалистовъ тридцатыхъ годовъ, не больше. И дѣйствительно, романтическая струя не замолкала въ немъ очень долго. Его восторженное отношеніе къ Европѣ до 48-го года, къ итальянскому движенію, къ Гарибальди и Маццини, и даже позже къ Россіи временъ освобожденія или, лучше, къ Россіи будущаго, которой будто бы легче, чѣмъ любой европейской странѣ, разрѣшить социальный вопросъ—все это роднитъ его съ современниками, какъ истиннаго сына тридцатыхъ годовъ. Но въ немъ рано проявилась другая струна, и ея-то дрожаніе, ея-то звуки сдѣлали, по моему убѣжденію, изъ Герцена крупную, оригинальную и историческую величину. Темпераментъ положилъ начало новизнѣ его міросозерцанія. Когда онъ, ребенокъ, на вопросъ о томъ, какую онъ читаетъ книгу, не задумавшись, говоритъ «зоологію» вмѣсто «генеалогіи» или при словахъ одного изъ гостей, что тотъ предпочитаетъ ѣсть постное, приводитъ извѣстный стихъ: «родъ ословъ къ сухоядѣнью склоненъ», вы уже чувствуете особенную складку его ума, наклоннаго къ ироніи, къ скептицизму. Онъ узнаетъ, что онъ незаконный, и это даетъ новый толчокъ развитію другой, неромантической стороны его мыслей, чувствъ, настроенія.

Изъ предыдущихъ страницъ я нарочно выкинулъ строки о вліяніи на Герцена одного изъ его родственниковъ, фигурирующаго въ «Быломъ и Думахъ» подъ именемъ «Химики». Я приведу эти строки здѣсь и, хотя нарушу этимъ хронологическую послѣдовательность разсказа, но выиграю вѣроятно въ ясности.

Отецъ *) Химики былъ старый деспотъ и развратникъ, окруженный гаремомъ изъ дворовыхъ. Онъ страшно тѣснилъ сына и даже ревновалъ его къ своему сараю. Химикъ хотѣлъ разъ отдѣлаться отъ этой неблагоприятной жизни опиумъ; его спасъ случайно товарищъ, съ которымъ онъ занимался химіей. Отецъ перепугался и сталъ помирять. Послѣ его смерти Химикъ далъ отпускную всѣмъ одалискамъ, содержавшимся въ то время взаперти въ барскихъ покояхъ, уменьшилъ на половину тяжелый оброкъ крестьянъ, простилъ всѣ недоимки и занялся химіей.

*) Это былъ старшій братъ Ивана Александровича Яновлева; будущая жена Герцена Наталія Александровна—одна изъ его незаконныхъ дочерей, слѣдовательно сестра Химики.

Жилъ онъ чрезвычайно своеобразно; въ большомъ своемъ домѣ на Тверской занималъ одну комнату для себя и одну для лабораторіи. Остальное помѣщеніе было заколочено и запущено. Почернѣвшіе канделябры, необыкновенная мебель, всякія рѣдкости, рамы безъ картинъ и картины безъ рамъ—все это наполняло три огромныя старинныя залы, нетопленныя и неосвѣщенныя. При появленіи гостя человѣкъ провожалъ его съ зажженной свѣчей въ рукахъ, предупредивъ сначала, что платья снимать не надобно, такъ какъ въ залахъ очень холодно. Рядомъ этихъ комнатъ достигалась наконецъ дверь, завѣшанная ковромъ, которая вела въ страшно натопленный кабинетъ. Здѣсь химикъ въ грязномъ халатѣ на бѣлицыи мѣху сидѣлъ безвыходно, обложенный книгами, обставленный стеклянками, ретортами, тигелями, снарядами.

Какъ, путемъ какой комбинаціи протестующихъ элементовъ души, отвращенія къ рабству, разочарованія въ общественной дѣятельности создавался такой «типъ» — Богъ вѣсть, но химикъ, на самомъ дѣлѣ, былъ типомъ, съ цѣльными взглядами, цѣльнымъ міросозерцаніемъ. Ничего романтическаго, ничего такого, чего нельзя было бы проверить опытами, добыть въ ретортѣ, разложить на элементы—было его девизомъ. Въ эпоху увлеченія Шеллингомъ онъ съ пренебреженіемъ закрылъ сочиненія натуръ-философовъ, презрительно говоря о нихъ: «сами выдумали первыя причины, духовныя силы, да и удивляются потомъ, что ихъ нельзя найти, и мудрять, мудрять, мудрять»... Человѣкъ въ его глазахъ былъ не болѣе какъ далеко несовершенно устроенной химической лабораторіей, который такъ же мало можетъ отвѣчать за содѣянное имъ добро и зло, какъ звѣрь. Все—дѣло организаціи, обстоятельствъ, устройства нервной системы. Изящныя искусства онъ презиралъ, называя ихъ пустяками. Въ 1846 г., когда Герценъ началъ входить въ моду послѣ первой части «Кто виноватъ?», химикъ написалъ ему письмо, въ которомъ говорилъ, что ему грустно видѣть, какъ Герценъ тратитъ свой талантъ на пустяки. «Я съ вами помирился,—писалъ онъ,—за ваши «Письма объ изученіи природы»; въ нихъ я понялъ (насколько человѣческому уму можно понимать) нѣмецкую философію,—зачѣмъ же вмѣсто продолженія серьезнаго труда вы пишете сказки?»

Съ самаго начала своего знакомства съ Герценомъ, химикъ убѣждалъ его бросить пустыя занятія литературой и политикой и при-

няться за естественныя науки. Онъ далъ мальчику рѣчь Кювье о геологическихъ переворотахъ и растительную органографію Декандоля. Видя, что чтеніе идетъ на пользу, онъ предложилъ свои превосходныя коллекціи и даже свое руководство. И хотя Герценъ по своему темпераменту не могъ согласиться съ выводами химика и горячо отстаивалъ мечты объ общемъ счастьѣ, — это не помѣшало ему пристраститься къ естественнымъ наукамъ и поступить на математическій факультетъ.

Изъ рѣчей химика на него пахнула здоровая струя реализма.

Химикъ своими разговорами, хотя и рѣдкими, бросилъ зерно на богато подготовленную самой природой почву. Онъ не могъ своротить Герцена на свой путь, но онъ уяснилъ ему его собственный. Онъ внушалъ ему уваженіе къ положительной, точной наукѣ, онъ подсказалъ ему мысль, что есть истины, обязательныя для человѣка, какъ такового, нравятся ли онѣ ему или нѣтъ — безразлично, и что самая исторія и жизнь общества, какъ и природа, могутъ и должны быть предметомъ точнаго научнаго изслѣдованія. Если изъ Герцена не вышло человѣка науки — то не химикъ виноватъ въ этомъ. Онъ съ своей стороны сдѣлалъ все, что могъ, чтобы повернуть горячаго талантливаго юношу на единственный, по его мнѣнію, истинный путь. Герценъ, по своему обыкновенію, взялъ отъ него все, что тотъ могъ дать, и пошелъ своей дорогой. Онъ былъ слишкомъ сильной и искренней натурой, чтобы дѣйствовать и говорить съ чужого голоса — не отъ себя.

Какъ бы то ни было, первыя крупныя положительнаго міросозерцанія, или того, что, тридцать лѣтъ спустя, стало называться реализмомъ, проникли въ его сознаніе. Отчасти подъ вліяніемъ химика онъ поступилъ на естественный факультетъ, но совсѣмъ противно его вліянію занялся пропагандой политическихъ идей и сенъсимонизмомъ. Темпераментъ всю жизнь неотразимо тянулъ его къ борьбѣ, и именно на общественной почвѣ.

Ссылка, близость къ религіозной кузинѣ и Витбергу временно настроили Герцена на мистическій ладъ, но эта полоса въ жизни не характерна для него. Религіозное чувство только шевельнулось въ немъ, но не стало настолько сильнымъ и могучимъ, чтобы подчинить себѣ все остальное. Также мало характерно увлеченіе метафизикой. Вѣдь чѣмъ бы ни увлекался Герценъ, къ какому бы краю умственного движенія ни прибывали его обстоятельства, онъ изъ

всего выходилъ самъ собой. Въ Вяткѣ, слушая восторженные мистическія рѣчи Витберга, какъ бы присутствуя при созданіи величественнаго храма, часто «готовый молиться и плакать», влюбленный въ экзальтированную и религіозную дѣвушку, Герценъ все же не могъ отрѣшиться ни отъ себя, ни отъ темперамента. Онъ съ грустью вспоминалъ впоследствии, что съ Витбергомъ нельзя было поднимать никакихъ политическихъ и общественныхъ вопросовъ. Въ Новгородѣ онъ прочелъ гегеліанцевъ, быстро примкнулъ къ ихъ лѣвой сторонѣ, породнившейся съ точной наукой и положительной философійю. Фейербахъ училъ о единствѣ матеріи и духа, о томъ, что о сущности мы можемъ судить лишь по ея проявленіямъ. Герценъ воспринялъ это ученіе: его скептическій умъ, его политическій темпераментъ требовали этого.

Мнѣ кажется, что, объясняя различные настроенія, пережитыя Герценомъ, критики придаютъ имъ слишкомъ серьезное значеніе, и потому подробно останавливаются на обстоятельствахъ, которыя приводили его то къ мистицизму, то къ метафизикѣ, то къ радикализму. Разумѣется, ссылка, частныя свиданія съ Дуббельтомъ и пр.—все это сыграло свою роль, и не упомянуть объ этомъ нельзя, но все же я иначе понимаю смыслъ біографіи Герцена. Мнѣ лично представляется особенно важнымъ прослѣдить, какъ Герценъ, увлекаясь то тѣмъ, то другимъ, все же никогда не забывалъ самого себя, и какъ его темпераментъ постоянно одерживалъ побѣды надъ различными настроеніями, какъ струя положительнаго мышленія не изсякала въ немъ и проявилась наконецъ въ рѣзкой, опредѣленной формѣ. Наши дѣды дѣлали крупную ошибку, не придавая никакого значенія обстоятельствамъ и объясняя все «изнутри человѣка»; мы повидимому склонны впасть въ другую крайность и перецѣнивать вліяніе обстоятельствъ. Внутренній человѣкъ, т. е. совокупность данныхъ, полученныхъ имъ по наслѣдству, значить удивительно много. На долю Герцена выпало рѣдкое счастье никогда не измѣнять этому внутреннему человѣку, а лишь «отходить» отъ него то въ ту, то въ другую сторону, но никогда—слишкомъ далеко. Мы, интеллигентные люди, сильно подвержены иллюзіи. Прежде чѣмъ найти свою дорогу, мы долгіе годы бродимъ тамъ и сямъ, наряжаемся въ разныя неподходящія одежды, беремся не за свои дѣла. Случается, что человѣкъ, умирая, задаетъ себѣ вопросъ, зачѣмъ онъ жилъ? Этотъ вопросъ можетъ быть мучительнымъ лишь въ томъ

случаѣ, если всю жизнь человѣкъ не сумѣлъ опредѣлить самого себя и свое призваніе. Въ противномъ случаѣ онъ почти невозможенъ. Герценъ опредѣлился еще ребенкомъ. Сила и искренность его темперамента поразительны, и эта сила, эта искренность—лучшее наслѣдство, полученное имъ отъ отца. Съ этой точки зрѣнія любопытно прослѣдить его литературныя работы.

Когда онъ началъ печататься, мы не знаемъ; первую же статью, подъ его обычнымъ псевдонимомъ «Искандеръ», мы находимъ въ 33-мъ № «Телескопа» за 1836 г., когда Герценъ былъ уже въ Вяткѣ и слѣдовательно «въ мистической фазѣ своего міросозерцанія». Статья была посвящена Гофману—одному изъ послѣднихъ моги-канъ нѣмецкаго романтизма. Повидимому, здѣсь Герценъ вполнѣ заплатилъ дань своему времени, явившись такимъ же поклонникомъ Гофмана, какими были всѣ юноши тридцатыхъ годовъ. Въ статьѣ вы встрѣчаете цѣлый рядъ восторженныхъ восклицаній, зачастую даже неискреннихъ.

Въ своихъ восторгахъ и восклицаніяхъ Герценъ очевидно идетъ по проторенной дорожкѣ. Онъ повторяетъ лишь слова Станкевича. Но уже и въ этой юной статьѣ Герценъ не ограничивается одними романтическими пареніями. Среди разныхъ превыспренныхъ сантиментальностей вы наталкиваетесь на мысли совершенно иного склада и видите въ нихъ зачатки будущаго Герцена, и это въ то время (1836 г.), когда германская философія и романтическая поэзія занимали въ міросозерцаніи русской интеллигенціи мѣсто религіи. Между тѣмъ трезвая мысль Герцена освобождается отъ чуждаго ей вліянія и идетъ своей дорогой. Замѣчательна самая постройка статьи. Герценъ началъ съ частныхъ фактовъ, съ біографіи Гофмана, желая объяснить его идеи его жизнью. Онъ держится историческаго реальнаго метода, наперекоръ всеобщему увлеченію абстракціями, сущностями и метафизическими построеніями. Онъ постоянно указываетъ на тѣсную зависимость литературныхъ направленій отъ обстоятельствъ эпохи, когда они процвѣтаютъ. Еще яснѣе тотъ же реализмъ отразился во второй части «Записокъ одного молодого человѣка» (написанныхъ въ 1838 г. и появившихся въ «Отечественныхъ Запискахъ» въ 1840 и 1842 г.г.). Герценъ заканчиваетъ «Записки» словами:

«Мы должны сознаться, что жизнь германскихъ поэтовъ и мыслителей чрезвычайно односторонняя; я не знаю ни одной германской

біографіи, которая не была бы проникнута филистерствомъ. Въ нихъ при всей космополитической всеобщности недостаетъ цѣлаго элемента человѣчности—*именно практической жизни*, и хоть они очень много пишутъ, особенно теперь, о конкретной жизни, но уже самое то, что они пишутъ о ней, а не живутъ ею, доказываетъ ихъ абстрактность. Просимъ вспомнить для того, чтобы ясно увидѣть необъятное разстояніе между ними и людьми жизни, — біографію Байрона.»

Практическая жизнь въ этихъ строкахъ оказывается необходимымъ элементомъ человѣчности. Въ 60-хъ годахъ эти слова были на языкѣ у всѣхъ; въ сороковыхъ ихъ говорилъ одинъ Герценъ, и когда же? Въ самый разгаръ дружбы съ Витбергомъ и переписки съ Натальей Александровной.

«Статья «Еще изъ записокъ молодого человѣка»,—говоритъ А. М. Скабичевскій,—была какъ бы перчаткой, которую Герценъ намѣревался бросить друзьямъ Станкевича изъ своего далека. Напечатана эта статья была въ «Отечественныхъ Запискахъ», правда, тогда, когда Бѣлинскій самъ началъ уже колебаться въ своихъ московскихъ мнѣніяхъ, и такимъ образомъ она немного опоздала своимъ появленіемъ, явившись бомбою, упавшей на поле, очищенное неприятелемъ. Но тѣмъ не менѣе, во всякомъ случаѣ, она замѣчательна, какъ противоположный полюсъ, противовѣсь относительно статей Бѣлинскаго въ «Московскомъ Наблюдателѣ», какъ первое заявленіе въ печати о выходѣ изъ мрака среднихъ вѣковъ, отвлеченной схоластики и примирительнаго квіэтизма—на свѣжій воздухъ и свѣтъ.»

Рискуя утомить читателя, я попрошу его однако прослѣдить дальше развитіе реализма Герцена — этой живой струи, которой онъ не малые годы былъ единственнымъ представителемъ въ нашей литературѣ. Вѣдь отсюда произошло все лучшее послѣдующее. Герценъ мечтаетъ о *цѣльномъ* человѣкѣ, онъ твердитъ на разные лады, что общественная практическая жизнь необходима для полноты существованія, что нѣтъ спасенія въ романтическомъ буддизмѣ, въ созерцаніи, въ удаленіи отъ дѣйствительности. Жить—значитъ работать и стремиться, а не «грезить», какъ того требовалъ Шлегель и какъ бы грезы ни были пріятны...

Съ 42-го года Герценъ окончательно применилъ къ литературному цеху. Чуждое его натурѣ мистическое настроеніе разлетѣлось, какъ дымъ. Онъ, пройдя черезъ всѣ лабиринты гегелевской философіи, вышелъ изъ нихъ закаленный въ борьбѣ съ ея трудностями, во всеоружіи строгой и могучей логики. Жизнь не мѣшала ему;

напротивъ, въ это время она обставила его всѣми удобствами, дала ему семейное счастье, товарищей, полное матеріальное обезпеченіе. Грѣшно было бы Герцену съ его огромнымъ талантомъ не воспользоваться всѣмъ этимъ. И на самомъ дѣлѣ, за какихъ нибудь пять лѣтъ появились «Письма объ изученіи природы», «Изъ записокъ доктора Крупова», «Кто виноватъ?», «Капризы и раздумье» — и еще много другихъ произведеній, одинаково умныхъ, оригинальныхъ.

Разнообразіе Герцена замѣчательно. Въ своихъ статьяхъ, романахъ, замѣткахъ онъ касается всѣхъ сторонъ жизни. Онъ проповѣдуетъ точную науку и положительное знаніе, говоритъ о нравственности, о семейныхъ отношеніяхъ и смѣло подступаетъ къ роковой загадкѣ: почему же такъ тосклива жизнь, почему она утомляетъ однихъ, выбрасываетъ за бортъ другихъ, почему любовь не приноситъ счастья, а развитіе даетъ возможность увидѣть лишь мерзость окружающаго?

«Когда я хожу по улицамъ,—пишетъ Герценъ,—особенно поздно вечеромъ, когда все тихо, мрачно и только кое-гдѣ свѣтится ночная тухнувшая лампа, догорающая свѣча,—на меня находитъ ужасъ: за каждой стѣной мнѣ мерещится драма, за каждой стѣной виднѣются горячія слезы, слезы, о которыхъ никто не вѣдаетъ, слезы обманутыхъ надеждъ, слезы, съ которыми утекаютъ не одни юношескія вѣрованія, но всѣ вѣрованія человѣческія, а иногда и самая жизнь. Почему?»

Жизнь представляетъ изъ себя путаницу и даже жестокую путаницу, потому что отношенія людей между собой, ихъ нравственные понятія, ихъ взгляды на смыслъ и строй бытія исполнены непримиримыхъ, подчасъ мучительныхъ противорѣчій. Они, эти противорѣчія, прокрались во всѣ наши убѣжденія, исказили весь нравственный бытъ. Они упорны, какъ всѣ явленія полусознательныя и, слѣдовательно, полусостоящія въ волѣ человѣка (человѣкъ дѣйствительно свободенъ только въ томъ, что вполне понимаетъ); они трудно уловимы, безпрестанно мѣняютъ платье, форму, языкъ, по временамъ до того притихаютъ, что становятся незамѣтными, но преупорно остаются при своей задней или, лучше, дряхлой мысли. Тѣмъ опаснѣе эти противорѣчія, что они постоянно скрыты за туманомъ внутреннихъ чувствъ, что они избѣгаютъ рѣзко высказаннаго имени, что наконецъ зная, выставляемое ими съ величайшей добросовѣстностью, прикрываетъ совсѣмъ иное содержаніе. Рядомъ такихъ противорѣчій, утомительныхъ, ироническихъ, оскорбительныхъ, проходитъ озабоченное человѣчество передъ нашими глазами,

лѣтъ свои слезы, лѣтъ свою кровь, мучится, спорить, становится съ той и съ другой стороны, думаетъ примирить, думаетъ побѣдить—не можетъ и вмѣсто того, чтобы наслаждаться жизнью, склоняетъ усталую голову подъ то или другое ярмо предрасудковъ. Но кто же ставить, кто поддерживаетъ это ярмо? Его никто не ставитъ, никто не поддерживаетъ. Заблужденія развиваются сами собой: въ основѣ ихъ лежитъ всегда что нибудь истинное, обросшее словами ошибочнаго пониманія, какая нибудь простая житейская правда—она мало-по-малу утрачивается, между прочимъ потому, что выражена въ формѣ, несвойственной ей; а вѣками скопившаяся ложь, сѣдая отъ старости, опираясь на воспоминанія, переходитъ изъ рода въ родъ. Баратынскій превосходно называлъ предрасудокъ обломкомъ древней правды. Эти обломки составляютъ одно начало для противорѣчій, на другой сторонѣ—ихъ отрицаніе, протестъ разума. Обломки эти поддерживаются привычкой, лѣнью, робостью и наконецъ младенчествомъ мысли, неумѣющей быть послѣдовательною и уже развращенной принятіемъ въ себя разныхъ понятій безъ корня, безъ оправданія, рассказанныхъ добрыми людьми и принятыхъ на честное слово, а иногда и просто такъ. Это совершенно противно духу критическаго мышленія, но оно очень легко: вмѣсто труда и пота—органъ слуха, вмѣсто логической наготы—готовое богатство, вмѣсто нравственной отвѣтственности передъ самимъ собой—младенческая зависимость отъ внѣшняго суда. Еще двѣсти лѣтъ тому назадъ Спиноза доказывалъ, что всякій прошедшій фактъ надобно не хвалить, не порицать, а разбирать, какъ математическую задачу, т. е. стараться понять,—этого никакъ не растолкуешь. Мы живемъ не понимая, стараемся лишь приладить кое-какъ свои страсти, инстинкты къ официальной морали, чтобы не прослыть за преступника или негодая. Но что это за вещь такъ называемая официальная мораль?

Прислушиваясь къ различнымъ сужденіямъ, дивисься, какъ можетъ умъ дойти до того, чтобы въ одно и то же время совмѣстить въ свой нравственный кодексъ стоическія сентенціи Катона и Сенеки, романтически восторженные выходы среднихъ вѣковъ, самоотверженные нравоученія благочестивыхъ отшельниковъ степей и пустынь и своекорыстные правила политической экономіи. Безобразіе подобнаго смѣшенія принесло свой плодъ—именно мертвую мораль, мораль, существующую только на словахъ, а въ са-

момъ дѣлѣ недостойную управлять поступками: современная мораль не имѣетъ никакого вліянія на наши дѣйствія; это — милый обманъ, нравственная благопристойность, одежда — не болѣе. У каждаго человѣка за этой официальной моралью есть свой припрятанный *esprit de conduite*; официально онъ будетъ плакать о томъ, что бѣдный бѣденъ, официально онъ благороднымъ львомъ вступится за честь женщины; *privatim* — онъ беретъ страшные проценты, *privatim* онъ считаетъ себя вправѣ обезчестить женщину, если условился съ нею въ цѣнѣ. Постоянная ложь, постоянное двоедушіе сдѣлали то, что меньше дикихъ порывовъ и вдвое больше плутовства, что рѣдко человѣкъ скажетъ оскорбительное слово другому въ глаза и почти всегда очернить его за глаза; въ Парижѣ меньше сутенеровъ, нежели мушаровъ, потому что на первое ремесло надобно имѣть откровенную безнравственность и своего рода отвагу, а на второе только двоедушіе и подлость. Наполеонъ съ отвращеніемъ говорилъ о гнусной привычкѣ безпрестанно лгать. Мы лжемъ на словахъ, лжемъ движеніями, лжемъ изъ учтивости, лжемъ изъ добродѣтели, лжемъ изъ порочности; лганье это конечно много способствуетъ растлѣнію, нравственному безсилію, въ которомъ родятся и умираютъ цѣлыя поколѣнія, въ чаду и туманѣ проходящія по землѣ. Между тѣмъ и это лганье сдѣлалось совершенно естественнымъ, даже моральнымъ; мы узнаемъ человѣка благовоспитаннаго — потому, что никогда не добьешься отъ него, чтобы онъ откровенно сказалъ свое мнѣніе. ✕

Возьмите мелочи жизни, самое обыденное, скромное существованіе. Здѣсь особенно много непониманія, особенно рѣзко отсутствіе жизни. Люди никакъ не могутъ заставить себя серьезно подумать о томъ, что они дѣлаютъ дома съ утра до ночи; они тщательно хлопчутъ и думаютъ обо всемъ: о картахъ и крестахъ, объ абсолютномъ, объ варіаціонномъ исчисленіи, о томъ, когда ледъ пойдетъ по Невѣ; но объ ежедневныхъ, будничныхъ отношеніяхъ, обо всѣхъ мелочахъ, къ которымъ принадлежатъ семейныя тайны, хозяйственныя дѣла, отношенія къ роднымъ, близкимъ, приснымъ, слугамъ и пр. — объ этихъ вещахъ ни за что на свѣтѣ не заставитъ подумать: они готовы, выдуманы. Паскаль говоритъ, что люди для того играютъ въ карты, чтобы не оставаться никогда долго наединѣ съ собою, чтобы не дать развиваться угрызениямъ совѣсти. Очень вѣроятно, что человѣкъ, руководствуясь тѣмъ же инстинктомъ, не лю-

бить разсуждать о семейных тайнахъ, — а не пора ли бы имъ выйти на свѣтъ? Зачѣмъ, кажется, прятать подъ спудомъ то, что не боится свѣта; да и въ сущности это все равно, прячь не прячь — все обличится; съ каждымъ днемъ тайнъ меньше... Изрѣдка какое нибудь преступленіе, совершенное въ этомъ мракѣ частной жизни, пугнетъ на день, на другой людей, стоявшихъ близко, заставитъ ихъ задуматься, и потомъ все, какъ стоячая вода, опять покрывается плѣсенью. Въ тому же, чтобы преступленіе обратило на себя вниманіе, надобно, чтобы оно было чудовищно, громко, скандально, залито кровью. Мы въ этомъ отношеніи похожи на французскихъ классиковъ, которые, если шли въ театръ, то для того, чтобы посмотрѣть, какъ цари, герои или по крайней мѣрѣ полководцы и наперсники ихъ проливаютъ кровь, а не для того, чтобы видѣть мѣщански проливаемые слезы. Людямъ необходимы декорации, обстановка, надпись; мѣщанинъ въ дворянствѣ очень удивился, узнавши, что онъ сорокъ лѣтъ говорить прозой — мы хохочемъ надъ нимъ, а многіе лѣтъ сорокъ дѣлали злодѣянія и умерли лѣтъ 80-ти, не зная этого, потому что ихъ злодѣянія не подходили ни подъ какой § кодекса — и мы не плачемъ надъ ними.

«Бѣдная, жалкая жизнь! — восклицаетъ Герценъ, котораго постоянно тѣснили воспоминанія о Перми, Вяткѣ и другихъ стоячихъ водахъ: — не могу съ нею свынуться... Пусть человекъ, гордый своимъ достоинствомъ, пріѣдетъ въ Малиновъ посмотрѣть на тамошнее общество, и смирится. Больные въ домѣ умалишенныхъ менѣе бессмысленны. Толпа людей, двигающаяся и влекущаяся въ одномъ призракамъ, по горло въ грязи, забывшая всякое достоинство, всякую доблесть. Тѣсныя, узкія понятія, грубые, животныя желанія. Ужасно и смѣшно! Въ природѣ есть какая-то сардоническая логика, по которой она безжалостно развиваетъ нецѣлостности чрезвычайно послѣдовательно. И именно въ этихъ-то развитіяхъ тѣсно спаянъ, какъ въ шекспировскихъ драмахъ, глубоко-трагическій элементъ съ уморительно-смѣшнымъ. И жаль ихъ отъ души, и не удержишься отъ смѣха! Бѣдные люди! Они подъ тяжелымъ фатумомъ; виноваты ли они, что съ молокомъ всосали въ себя понятія нечеловѣческія, что воспитаніемъ они исказили всѣ порывы, заглушили всѣ высшія потребности? Такъ же невиноваты, какъ альбиносы, которые вдыхаютъ въ себя сѣверный болотный воздухъ, лишаящій ихъ силъ и заражающій ихъ организмъ.»

Въ этомъ стоячемъ болотѣ, на этой почвѣ загнаннаго, запуганнаго разума разыгрываются порою страшныя невидимыя драмы. Одной изъ нихъ Герценъ посвятилъ свой романъ «Кто виноватъ?».

Здѣсь онъ выводитъ на сцену людей честныхъ, хорошихъ, гуманныхъ; всѣ они любятъ другъ друга, всѣ они самымъ искреннимъ образомъ желаютъ осчастливить одинъ другого. А между тѣмъ въ концѣ концовъ они дѣлаютъ другъ друга несчастными, гибнутъ. Ихъ жизнь, ихъ любовь, какъ камень, брошенный въ стоячую воду, быстро пошли ко дну, чуть чуть разогнавъ плѣсень въ мѣстѣ паденія, но прошла минута, и плѣсень сдвинулась, и снова мертвое молчаніе, мертвая тишина.

Пошлая мораль не затруднится найти причину гибели. Она скажетъ, что влюбленные погибли оттого, что отдались своей страсти, забыли законъ и долгъ, не подавили своихъ чувствъ. Будутъ забыты борьба, муки, вынесенныя ими, и торжествующая официальная добродѣтель еще разъ въ великолѣпныхъ напыщенныхъ словахъ заявитъ о своемъ превосходствѣ и скажетъ: горе вамъ, неподчиняющимся мнѣ...

Вину, разумѣется, надо искать не въ личностяхъ, а въ противорѣчіяхъ жизни, любви и брака, страсти и филистерства.

Общество и семья, по мнѣнію Герцена, это—тезъ и антитезъ, силы, находящіяся еще въ настоящее время въ постоянной упорной борьбѣ, и только при ихъ соединеніи возможно счастье человѣка. Не отвернуться отъ влеченій сердца, не отречься отъ своей индивидуальности и всего частнаго, не предать семейство всеобщему, но раскрыть свою душу всему человѣческому, страдать и наслаждаться страданіями и наслажденіями современности, работать столько же для рода, сколько для себя, словомъ—развить эгоистическое сердце во «всескорбящее», обобщить его разумомъ и въ свою очередь оживить имъ разумъ. Фанатизма общественности—этой сухой и неглубокой доктрины—въ Герценѣ не было. Онъ признавалъ за каждымъ право жить для себя и какъ онъ хочетъ, но онъ понималъ въ то же время, что эгоистическая жизнь, ограниченная слишкомъ узкими предѣлами, виситъ на волоскѣ. Ее надо расширить и обогатить, чтобы бури обстоятельствъ не были безусловно гибельны для нея. Человѣкъ безъ сердца—какая-то безстрастная машина мышленія, не имѣющая ни семьи, ни друга, ни родства; сердце составляетъ прекрасную и неотъемлемую основу духовнаго развитія, изъ него пробѣгаетъ по жиламъ струя огня всесогрѣвающего и живительнаго; имъ «живое сотрясается въ наслажденіи, ради себя». Поднимаясь въ сферу всеобщаго, страстность не утрачивается, но преобразуется,

теряя свою дикую судорожную сторону; предметъ ея выше, святѣе; по мѣрѣ расширенія интересовъ уменьшается сосредоточенность около своей личности, а съ нею и ядовитая жгучесть страстей. Еслибы Бельтовъ, герой романа, сверхъ своихъ личныхъ привязанностей имѣлъ симпатію къ современности, — симпатію настоящую, органическую, остался ли бы онъ сидѣть сложа руки, истощая *есть* безъ исключенія силы души на противодѣйствіе несчастной любви? Можетъ быть, эта любовь и посылала бы его сердце, какъ мимолетная гостья, но она не стащила бы его въ преисподнюю, не нарушила бы мира съ собой, потому что онъ былъ бы сильнѣе ея тою стороною бытія, которой онъ не развилъ. Еще разъ, жизнь героевъ романа была бѣдная жизнь въ сферѣ частной любви, выхода не имѣла и при неудачѣ лопнула.

«Кто виноватъ?» — иллюстрація нравственной философіи Герцена: какъ у гегеліанца, она построена на развитіи и примиреніи противорѣчій. Мы знаемъ главнѣйшія изъ этихъ послѣднихъ: разумъ и предразсудки, личное чувство и общепринятая форма общественной морали, семья и общество. Въ этихъ противорѣчіяхъ проходитъ грустная безсмысленная человѣческая жизнь. И какъ изъ нихъ выпутаться, какъ и чѣмъ примирить ихъ? Держаться середины, не примыкая ни къ одному берегу? Къ сожалѣнію, это невозможно. Разумъ и предразсудки — огонь и вода, что нибудь да должно побѣдить, а другое погибнуть. Личное чувство, разъ оно не ужилося съ общепринятыми формами морали, должно или запрятаться глубоко въ сердце, или гордо провозгласить свою независимость, не смотря ни на что. Примиримо лишь третье противорѣчіе — семья и общество, путемъ гармоническаго сліянія того и другого начала.

Дуализмъ жизни, т. е. ея противорѣчія, ведетъ или къ гибели отдѣльной личности, какъ Бельтова, какъ четы Крузицерскихъ, или къ особенно отвратительному пороку — лицемерію, или наконецъ къ безнадежной мысли о томъ, что все равно ничего не подѣлаешь; надо жить какъ нибудь, не переставая иронически улыбаться при видѣ человѣческой глупости вплоть до могилы, такой же холодной и ненужной, какой была сама жизнь. Чтобы воспрянуть духомъ, чтобы высвободиться изъ-подъ ярма, нужны особыя, недюжинныя силы. Люди напр. чуть не съ троянской войны толкуютъ о нравственной независимости, о стремленіи къ ней, объ ея достоинствахъ и прелестяхъ, между тѣмъ на дѣлѣ оказываются не-

сравненно болѣе привязанными къ авторитетамъ, нежели къ нравственной свободѣ.

Но Герценъ не пессимистъ. Онъ знаетъ силу суевѣрія, предрасудка, умственной косности, но знаетъ, что, какъ ни тяжело положеніе, какъ ни велика борьба,—выходъ и спасеніе есть. Это—критическая мысль и наука. проведенная въ жизнь и построенная по своему идеалу. Ложь человѣческаго существованія, ея непримиренныя противорѣчія ведутъ къ враждѣ, къ гибели, мученичеству; наука, какъ истина,—къ любви.

Но наука, мысль, вѣдѣнія существуютъ уже давно; что же тормозитъ ихъ доброе вліяніе на жизнь? Отвѣту на этотъ вопросъ Герценъ посвятилъ свои статьи о диллетантизмѣ въ наукѣ. Оказывается, что виновата не она сама, виновато отношеніе къ ней.

Въ самомъ началѣ своихъ статей Герценъ дѣлаетъ характеристику своей эпохи. Онъ считаетъ ее рубежомъ двухъ міровъ, стараго—схоластическаго и новаго—положительнаго. Но новый міръ только выступаетъ на сцену, онъ еще въ пеленкахъ и его лепетъ заглушенъ грознымъ ворчаніемъ стараго. Отсюда новая тягость, затруднительность жизни для мыслящихъ людей. Прженія убѣжденія, все прошедшее міросозерпаніе потрашены, но они дороги сердцу. Новыя убѣжденія, многообъемлющія и великія, не успѣли еще принести плодъ; первые листы и почки пророчатъ могучіе цвѣты, но этихъ цвѣтовъ нѣтъ и они чужды сердцу. Множество людей, какъ бы претерпѣвъ кораблекрушеніе, остались безъ всего, безъ всякаго нравственнаго содержанія, выброшенные на берегъ безлюднаго сомнѣнія. Ихъ старый корабль разбить. Построить новый они не въ состояніи. Другіе механически связали старое и новое и бродятъ въ печальныхъ сумеркахъ. Люди «виѣшніе» предаются ежедневной суетѣ, и въ ней находятъ если не счастье, то забвеніе; люди созерцательные страдаютъ и во что бы то ни стало ищутъ примиренія, потому что съ внутреннимъ раздоромъ, безъ краеугольнаго камня нравственному бытію, человѣкъ жить не можетъ. Тяжелое положеніе ухудшается еще тѣмъ, что люди не умѣютъ относиться къ наукѣ, какъ слѣдуетъ, и не знаютъ, чего искать въ ней. Съ одной стороны мы видимъ массу диллетантовъ и романтиковъ, съ другой—цехъ записныхъ специалистовъ и буддистовъ науки. Диллетанты и романтики не находятъ примиренія въ наукѣ, и потому проклинаютъ ее, специалисты и буддисты напротивъ того находятъ ложное примире-

ніе въ ея буквѣ, но не проникають въ ея сущность, не вносятъ ея въ жизнь. Первые близки къ Фаусту, вторые—къ Вагнеру.

«Диллетанты смотрять въ телескопъ: оттого видятъ только тѣ предметы, которые по меньшей мѣрѣ далеки какъ луна отъ земли, а земного и близкаго не видятъ ничего. Ученые смотрять въ микроскопъ, и потому не могутъ видѣть ничего большого; для того, чтобы быть замѣченнымъ имъ, надобно быть незамѣтнымъ человѣческому глазу; для нихъ жизнь—не ручей, не рѣка, не моря, а капля, наполненная микроорганизмами. Диллетантъ занимается всѣмъ «познаваемымъ», да еще сверхъ того тѣмъ, чѣмъ нельзя заниматься, т. е. мистицизмомъ, магнетизмомъ, физиогномикой, гомеопатіей и т. д. Ученый, наоборотъ, посвящаетъ себя отдѣльной вѣтви какой нибудь спеціальной науки, и кромѣ ея ничего не знаетъ и знать не хочетъ. Расплываясь въ морѣ частныхъ и детальнѣхъ крупицъ знанія, цеховые ученые въ то же время валомъ отдѣлены отъ жизни. Между тѣмъ какъ массы дѣйствуютъ, проливаютъ кровь и потъ,—ученыя являются послѣ разсуждать о происшествіи.»

Изливши цѣлый потокъ ироніи на диллетантовъ и цеховыхъ специалистовъ, Герценъ, вѣрный гегелевской методѣ, въ заключеніи приступаетъ къ вопросу о томъ, когда же будетъ конецъ этому раздвоенію и въ чемъ онъ будетъ заключаться. Главное, что дѣлаетъ науку ученыхъ трудною и запутанною, это метафизическія бредни и тьма-тьмущая спеціальностей, на изученіе которыхъ посвящается цѣлая жизнь и схоластическій видъ которыхъ отталкиваетъ многихъ. Но въ истинной наукѣ необходимо улегучивается то и другое, и остается стройный организмъ, разумный и оттого просто понятный. Всегда и вѣчно будетъ техническая часть отдѣльныхъ отраслей науки, которая очень справедливо останется въ рукахъ специалистовъ, но не въ ней дѣло. Наука въ высшемъ смыслѣ своемъ сдѣлается доступна людямъ, и тогда только она можетъ потребовать голоса во всѣхъ дѣлахъ жизни. Нѣтъ мысли, которую нельзя было бы высказать просто и ясно, особенно въ ея діалектическомъ развитіи.

Въ статьѣ «Буддизмъ въ наукѣ» Герценъ изливаетъ свою иронию на ученыхъ формалистовъ, вродѣ того доктора, вистѣтъ съ которымъ онъ велъ философскія пренія въ Новгородѣ съ мистическою генеральшею, съ другой стороны—на отвлеченныхъ философъ-примирителей, вродѣ московскаго кружка Бѣлинскаго. Буддисты науки, по мнѣнію Герцена,—это люди, которые, такъ или сякъ поднявшись въ сферу всеобщаго, изъ нея не выходятъ. Ихъ калачомъ не заманишь въ міръ дѣйствительности и жизни. Кто имъ велитъ промѣнять обширную храмину, въ которой дѣлать нечего,

а почетно, на нашу жизнь съ ея бующими страстями, гдѣ надобно работать, а иногда погибнуть. Вина буддистовъ состоитъ въ томъ, что они не чувствуютъ потребности этого выхода въ жизнь—дѣйствительнаго осуществленія идеи. Они примиреніе науки принимаютъ за *всяческое* примиреніе; не за поводъ къ дѣйствованію, а за совершенное, замкнутое удовлетвореніе. А тамъ хоть трава не роси за переплетомъ книги. Они все снесутъ за пустоту всеобщности... Имъ удивительно, о чемъ люди хлопочутъ, когда все объяснено, сознано и человечество достигло абсолютной формы бытія, что доказано ясно тѣмъ, что современная философія есть абсолютная философія, а наука всегда является тождественною эпохѣ, но какъ ея результатъ, то-есть по совершеніи бытія. Для нихъ такое доказательство неопровержимо. Фактами ихъ не смутить, они пренебрегаютъ ими. Спросите ихъ, отчего при этой абсолютной формѣ бытія въ Манчестерѣ и Бирмингамѣ работники мрутъ съ голоду и прокармливаются настолько, насколько нужно, чтобы они не потеряли силъ? Они скажутъ: «это случайность».

Такимъ образомъ, по мнѣнію Герцена, односторонность буддистовъ науки заключается въ томъ, что они ограничиваются примиреніемъ въ отвлеченной сферѣ мышленія, не видя его въ жизни, тогда какъ истинный процессъ идеи есть въ то же время процессъ жизни, а не одной мысли.

Словомъ, наука, прежде чѣмъ оплодотворить жизнь, должна быть сама оплодотворена жизнью, и наоборотъ. Получается повидимому закодированный кругъ, но это только повидимому. Оба процесса въ сущности нераздѣльны и совершались всегда, но лишь въ слабой, ничтожной степени. Оттого-то вліяніе ихъ совсѣмъ не замѣтно.

Буддистъ долженъ найти себѣ выходъ въ жизни, въ дѣятельности; диллетантъ—тамъ же, ибо жизнь, дѣятельность—корень и источникъ всего.

Вопросы, поднятые Герценомъ, слишкомъ сложны, чтобы мы могли высказаться по ихъ поводу. Они далеко не разрѣшены еще и въ настоящее время. Диллетантизмъ и буддизмъ процвѣтаютъ, и больше того, считаютъ свое право на существованіе вѣдъ всякаго сомнѣнія. Буддизмъ гнѣздится въ академіяхъ и университетахъ, диллетантизмъ разсыпался по лицу родной земли и пользуется пріютомъ въ многочисленныхъ журналахъ. То и дѣло переходить онъ въ общеизвѣстную форму верхоглядства... Но, не разрѣшивъ

безусловно поставленной задачи, Герценъ тѣмъ не менѣе сдѣлалъ очень многое: роль его статей и статей Бѣлинскаго въ области публицистическаго мышленія такая же, какъ Пушкина въ области художественнаго творчества. Пушкинъ былъ первымъ реалистомъ, первымъ, который умѣлъ вдохновляться дѣйствительностью. Герценъ и Бѣлинскій были первыми истинными реалистами, первыми, которые признали практическую дѣйствительную жизнь за необходимый элементъ мышленія. Шестидесятые годы духовно порождены ими.

Повторяю, взглядъ Герцена — это взглядъ трезваго реалиста, какимъ онъ по самому темпераменту своему былъ чуть не съ пеленокъ и какимъ онъ остался вплоть до гробовой доски. Посмотрите съ этой точки зрѣнія на его философскую теорію. Мы знаемъ, что она образовалась подъ вліяніемъ гегелевской діалектики, но какая громадная разница между Герценомъ и правовѣрными гегеліанцами. Слѣдуя Фейербаху, онъ рѣшительно отвергаетъ возможность существованія «идеи», «сущности» внѣ ея проявленія.

«Такое раздѣленіе, — говоритъ онъ, — невозможное въ дѣйствительности, имѣетъ мѣсто только въ человѣческомъ мышленіи. Дилетанты часто предлагаютъ въ различныхъ видахъ вопросъ: «какъ безвидное внутреннее превратилось въ видимое внѣшнее, и что оно было прежде существованія внѣшняго?». Но, по мнѣнію Герцена, наука потому не обязана на это отвѣчать, что она и не говорила, что два момента, существующіе какъ внутреннее и внѣшнее, можно разъять такъ, чтобы одинъ моментъ имѣлъ дѣйствительность безъ другого. Въ абстракціи, разумѣется, мы можемъ отдѣлить причину отъ дѣйствія, силу отъ проявленія, субстанцію отъ наружнаго. Но дилетантамъ не того хочется: имъ хочется освободить сущность, внутреннее такъ, чтобы можно было посмотрѣть на него; они хотятъ какого то предметнаго существованія его, забывая, что предметное существованіе внутренняго есть именно внѣшнее; внутреннее, не имѣющее внѣшняго, просто — безразличное ничто. Жизнь жива, какъ все органическое живое, только какъ плѣтственность. При разъятіи на части, душа ея отлетаетъ и остаются мертвыя абстракціи съ запахомъ трупa. Важна, разумѣется, не та отвлеченная форма, въ которую выразилась мысль Герцена, важны ея практическіе выводы. Проявленія жизни — самая жизнь, видимая и опущаемая нами дѣйствительность — сама сущность жизни. Насколько

же послѣ этого полезно ея буддійское созерцаніе? и что на самомъ дѣлѣ созерцается? Сущность? Абстракція? Но вѣдь это слова, это понятія нашего мозга и только. Созерцается «ничто», а въ это время жизнь уходитъ изъ-подъ ногъ съ быстротой ужасающей и поразительной. Итакъ, работать, работать!...

* *
* *

Быть можетъ изложенныя выше идеи Герцена покажутся читателю неновыми и неоригинальными. *Теперь* онѣ на самомъ дѣлѣ не новы и не оригинальны. Но пусть припомнитъ всякій, какія душевныя муки испыталъ Грановскій, приступая къ изученію исторіи и не зная, по какому пути ему идти: сдѣлаться ли цеховымъ специалистомъ, потонуть въ морѣ мелочныхъ фактовъ при страшномъ обиліи матеріаловъ, разработанныхъ нѣмецкою наукою, или же, напротивъ, стать диллетантомъ. Вспомните затѣмъ, въ какомъ туманѣ и какомъ буддизмѣ пребывалъ Бѣлинскій долгіе годы вплоть до самаго переезда въ Петербургъ, и вы поймете, какъ нуженъ былъ Герценъ и его огромный литературный талантъ. Мы сейчасъ увидимъ, какъ оцѣнила его молодежь, пока же нѣсколько словъ о «Запискахъ доктора Крупова» — быть можетъ лучшимъ произведеніемъ, вышедшемъ изъ-подъ пера Герцена. Оно переноситъ насъ въ особую сферу его мысли, въ особое настроеніе его духа. Вѣдь онъ, какъ и Лермонтовъ, — тоже герой безвременья. Его дѣятельная мысль часто приходила въ утомленіе отъ собственной работы, нужно было оживить свои нервы, а вокругъ было стоячее болото — страшное, засасывающее, безмолвное. Не тосковалъ Герценъ, окруженный своими друзьями, слушая ихъ шумныя рѣчи, не тосковалъ онъ въ 48-мъ году, не тосковалъ и въ 61-омъ, когда началось возрожденіе Россіи, но жизнь его сложилась такъ, что большую часть ея онъ провелъ за оградой. Въ этомъ ея трагизмъ. Ссылка долго держала его вдали отъ умственного движенія, эмиграція отдѣлила его отъ Россіи, защита польскаго возстанія сдѣлала непопулярнымъ самое имя на родинѣ. Дѣятельный пропагаторъ идей, онъ однако вынужденъ былъ проповѣдывать чужимъ, невнимательнымъ слушателямъ; умственный аристократъ, онъ провелъ долгіе годы въ стоячихъ водахъ Вятки, Перми и пр., — поневолѣ возмущалась его гордость, поневолѣ обида заполняла сердце,

превращаясь въ тоску. Тогда онъ проклиналъ или смѣялся смѣхомъ Мефистофеля, билъ своихъ враговъ съ беспощадной ироніей, но грустная человѣческая нота неудавшейся жизни никогда не переставала звучать ни въ его смѣхѣ, ни въ его ироніи.

Кто помнить доктора Крупова, тотъ помнить конечно и его теорію. Она состоитъ въ томъ, что люди, вообще говоря, повреждены въ умѣ, что человѣчество поражено повальнымъ сумасшествіемъ. Упорныя заблужденія людей, ихъ слѣпое подчиненіе страстямъ, ихъ дѣйствія, явно противорѣчащія ихъ собственной пользѣ,—все это докторъ Круповъ считалъ слѣдствіемъ давнишняго эпидемическаго помѣшательства. Для того, чтобы подобная шутка была остра и занимательна, нужно было одно условіе—нужно было, чтобы она какъ можно ближе походила на правду. Истинно остроуменъ можетъ быть только тотъ, кто истинно глубокомысленъ. Шутка у Герцена вышла странная: изъ простой насмѣшки надъ людскими слабостями и предрасудками она переходитъ въ скорбную, въ отчаянную думу о бѣдствіяхъ и страданіяхъ людей и подъ конецъ кажется, что мысль о хроническомъ и повальномъ умопомѣшательствѣ гораздо легче и отраднѣе, чѣмъ представленіе, что люди всѣ свои безумства и злодѣянія дѣлаютъ въ полномъ разумѣ и съ неповрежденнымъ сердцемъ.

Фигура дурачка Левки — едва ли не лучшее лицо, созданное Герценомъ. Въ описаніи этого лица онъ наглядно и превосходно сопоставляетъ человѣка *дикаго* съ людьми грубыми; на сторонѣ грубыхъ людей оказывается больше непониманія, больше безчеловѣчія, чѣмъ у несчастнаго юродиваго. Тонко и ясно схвачены нѣжныя дѣтскія черты ума и сердца Левки; выпукло и рѣзко выставлена нелѣпная затвердѣлость понятій людей, считающихъ только себя разумными, только свою жизнь нормальной. «Я постоянно возвращался къ основной мысли,—говоритъ докторъ Круповъ,—что причина всѣхъ гоненій на Левку состоитъ въ томъ, что Левка глупъ на свой собственный салтыкъ, а другіе повально глупы; и такъ, какъ картежники не любятъ неиграющихъ и пьяницы непьяницъ, такъ и они ненавидятъ бѣднаго Левку».

Дальше Герценъ указываетъ на тотъ явный постоянный вредъ, который наносятъ люди себѣ самими въ силу своихъ предрасудковъ, на ихъ явное и постоянное стремленіе къ цѣлямъ несущественнымъ и упущеніе цѣлей дѣйствительныхъ. Это уже черта на-

стоящаго безумія, т. е. такого состоянія, въ которомъ дѣйствительность не имѣетъ силы надъ человѣкомъ. Если человѣкъ подвергается бѣдамъ и мученіямъ, дѣйствуя по извѣстнымъ понятіямъ, и однакоже не можетъ образумиться и продолжаетъ прежній образъ дѣйствій, то онъ всего ближе къ безумству.

«Успокоившись насчетъ жителей нашего города, — заключаетъ докторъ Круповъ, — я пошелъ далѣе. Выписавъ себѣ знаменитѣйшія путешествія древнія и новыя, историческія творенія, я подписался на «Аугсбургскую Всеобщую Газету». Отовсюду текли доказательства очевидныя, неподлежащія сомнѣнію, моей основной мысли; слезы умиленія не разъ наполняли мои глаза при чтеніи. Я не говорю уже о «Аугсбургской газетѣ»; на нее я съ самаго начала смотрѣлъ не какъ на суетный дневникъ всякой всячины, а какъ на всеобщій бюллетень богоугодныхъ заведеній для несчастныхъ, страдающихъ душевными болѣзнями. Все равно, что бы историческое я ни начиналъ читать, вездѣ во всѣ времена открывалъ я разныя безумія, которыя соединялись въ одно всемірное хроническое сумасшествіе. Тита Ливія я бралъ или Муратори, Тацита или Гиббона — никакой разницы: всѣ они, равно какъ и нашъ отечественный историкъ Карамзинъ, доказываютъ одно, что исторія не что иное, какъ связанный разсказъ родового, хроническаго безумія и его медленнаго излѣченія. Истинно не считаю нужнымъ приводить примѣры: ихъ миллионы. Разверните какую хотите исторію; вездѣ васъ поразитъ, что вмѣсто дѣйствительныхъ интересовъ всѣмъ заправляютъ мнимые фантастическіе интересы; взгляните изъ-за чего льется кровь, изъ-за чего несутъ крайность, что восхваляютъ, что порицаютъ — и вы ясно убѣдитесь въ печальной на первый взглядъ истинѣ, и истинѣ, полной утѣшенія на второй взглядъ, что все это — слѣдствіе разстройства умственныхъ способностей...»

Замѣчательно при этомъ то, что при всей кажущейся безотрадности подобной ироніи въ ней вы вовсе не слышите того мрачнаго, потерявшаго всякую надежду отчаянія, которое вы видите, напримеръ, въ сатирѣ Ювенала; напротивъ того, отъ нея отзывается чѣмъ-то свѣжимъ, полнымъ силъ и жизни, вызывающимъ и возбуждающимъ. Это не стоны разочарованной старости, но все же далѣе этого въ рефлексіи пойти трудно, хотя впрочемъ впоследствии Герценъ сдѣлалъ еще одинъ шагъ впередъ. Въ «Запискахъ доктора Крупова» проведена та мысль, что исторія есть процессъ выздоровленія человѣчества отъ его болѣзни; такимъ образомъ вамъ остается надежда, что когда нибудь человѣчество выйдетъ изъ своего сумасшествія.

* * *

Весь курсъ 1845 г. Герценъ ходилъ на лекціи въ университетъ и слушалъ сравнительную анатомію. Въ аудиторіи и въ анатомическомъ театрѣ онъ познакомился съ новымъ поколѣніемъ юношей. Направленіе занимавшихся въ то время было совершенно реалистическое, т. е. положительно-научное. Замѣчательно, что таково же было направленіе почти всѣхъ царскосельскихъ лицействъ. Лицей въ то время оставался еще разсадникомъ талантовъ; завѣщаніе Пушкина, благословеніе поэта пережило всѣ тяжелыя испытанія времени. Съ радостью привѣтствовалъ Герценъ въ лицейстахъ, бывшихъ въ Московскомъ университетѣ, новое, сильное поколѣніе, а тѣ, въ свою очередь, въ немъ и Бѣлинскомъ видѣли выразителя самыхъ задушевныхъ своихъ мыслей и у него искали рѣшенія мучившихъ ихъ вопросовъ.

Трогательный въ этомъ отношеніи рассказъ находимъ мы въ «Быломъ и Думахъ».

«Сынъ одного знакомаго подмосковнаго священника, молодой человѣкъ лѣтъ 17-ти, приходилъ нѣсколько разъ ко мнѣ за «Отечественными Записками». Застѣнчивый, онъ почти ничего не говорилъ, краснѣлъ, нѣмался и торопился скорѣе уйти. Умное и открытое лицо его сильно говорило въ его пользу; я переломилъ, наконецъ, его отороческую неуверенность въ себѣ и сталъ говорить съ нимъ объ «Отечественныхъ Запискахъ». Онъ очень внимательно и дѣльно читалъ въ нихъ именно философскія статьи. Онъ сообщилъ мнѣ, какъ жадно на вышемъ курсѣ семинаріи учащіеся читали мое историческое изложеніе системъ, и какъ оно ихъ удивило послѣ философіи по Бурмейстеру и Вольфу. Молодой человѣкъ сталъ иногда приходить ко мнѣ, я имѣлъ полное время убѣдиться въ силѣ его способностей и въ способности труда.

— Что вы намѣрены дѣлать послѣ курса?—спросилъ я его разъ.

— Постричься въ священники,—отвѣчалъ онъ, краснѣя.

— Думали ли вы объ участи, которая васъ ожидаетъ, если вы пойдете въ духовное званіе?

— Мнѣ нѣтъ выбора, мой отецъ рѣшительно не хочетъ, чтобы я шелъ въ свѣтское званіе. Для занятій у меня досуга будетъ довольно.

— Вы не сердитесь на меня,—возразилъ я,—но мнѣ невозможно не сказать откровенно своего мнѣнія. Вашъ разговоръ, вашъ образъ мыслей, который вы нисколько не скрывали, и то сочувствіе, которое вы имѣете къ моимъ трудамъ,—все это и сверхъ того искреннее участіе въ вашей судьбѣ даютъ мнѣ вмѣстѣ съ моими лѣтами нѣкоторыя права. Подумайте сто разъ, прежде чѣмъ вы надѣнетесь рясу. Снять ее будетъ гораздо труднѣе, а можетъ быть вамъ въ ней тяжело будетъ дышать. Я вамъ сдѣлаю очень простой вопросъ: скажите, есть ли у васъ въ душѣ вѣра хоть въ одинъ догматъ богословія?

Молодой человѣкъ, потупя глаза и помолчавъ, сказалъ: «передъ вами лгать не стану—нѣтъ».

— Я это зналъ; подумайте же теперь о вашей будущей судьбѣ. Вы должны будете во всю вашу жизнь всенародно, громко лгать, измѣнять истинѣ; вѣдь это-то и есть грѣхъ противъ Св. Духа, грѣхъ сознательный, обдуманый. Станетъ ли васъ на то, чтобы сладить съ такимъ раздвоеніемъ? Все ваше общественное положеніе будетъ неправдой. Какими глазами вы встрѣтите взглядъ усердно молящагося, какъ будете утѣшать умирающаго раемъ и безсмертіемъ, какъ отпускать грѣхи? А еще тутъ васъ заставить убѣждать раскольниковъ, судить ихъ.

— Это ужасно, ужасно! — сказалъ молодой человѣкъ и ушелъ взволнованный и разстроенный.

На другой день вечеромъ онъ возвратился.

— Я къ вамъ пришелъ за тѣмъ, — сказалъ онъ, — чтобы сказать, что я очень много думалъ о вашихъ словахъ. Вы совершенно правы; духовное званіе мнѣ невозможно, и будьте увѣрены, я скорѣе пойду въ солдаты, чѣмъ позволю себя постричь въ священники.

Я горячо пожалъ ему руку и общалъ съ своей стороны, когда время придетъ, уговорить, насколько могу, его отца.»

Мнѣ кажется, что въ этой маленькой сценѣ мы находимъ прекрасную иллюстрацію всей проповѣди Герцена за первый, *русскій*, періодъ его дѣятельности. Вѣдь истинная ея сущность можетъ быть цѣликомъ выражена въ немногихъ словахъ: «не лги и не подчиняйся лжи».

IX.

Заграницей.

Съ конца 1845 года силы Ивана Алексѣевича постоянно уменьшались, онъ явнымъ образомъ гаснулъ, особенно со смерти сенатора, къ которому былъ сильно привязанъ, разумѣется, по своему. Проболѣвъ нѣсколько мѣсяцевъ, старый скептикъ умеръ, и кончилась еще одна ненужная жизнь, Богъ вѣсть зачѣмъ и въ чемъ проведенная. Вѣдь бываютъ же такія обстоятельства, когда человѣкъ не живетъ по настоящему, а отбываетъ жизнь, ну, точно какую нибудь повинность. Мелочная скупость и ненужные крупные расходы, привязанности, затаенныя глубоко въ сердца, и обидная холодная иронія на яву, громадный умъ, истраченный на то, чтобы посмѣяться надъ нѣсколькими дураками.—все это скрылось въ могилу вмѣстѣ съ Иваномъ Алексѣевичемъ.

Герценъ получилъ въ наслѣдство громадное состояніе въ нѣсколько сотъ тысячъ рублей. Его неотразимо потянуло за границу. Нѣсколько мѣсяцевъ непріятныхъ хлопотъ, непріятной возни изъ-за паспорта, и наконецъ, —

Ну, радуйтесь! Я отпущенъ!
Я отпущенъ въ страны чужія!
Да это полно ли, не сонъ?
Нѣтъ, завтра жъ кони почтовые,
И я скачу vom Ort zu Ort,
Отдавши деньги за паспортъ.
Поѣду... Что-то будетъ тамъ?
Не знаю! вѣрно, но темно
Грядущее передъ очами,
Богъ вѣсть, что мнѣ сулитъ оно!
Стою со страхомъ предъ дверями
Европы...

Едва ли въ эту минуту даже отдаленная мысль объ эмиграціи мелькала въ головѣ Герцена. Какъ умный человѣкъ, онъ не могъ

не понимать, что эмиграція — шагъ роковой, безповоротный, который ничего не сулитъ, кромѣ бѣдъ, разочарованій и даже — вполне справедливыхъ мукъ совѣсти. Въ Европѣ дѣятелей всякаго рода вполне достаточно; русскому человѣку довольно работы и у себя дома: здѣсь нужна каждая крупница его силъ, каждый порывъ его сердца. Эмиграція для богатаго человѣка слишкомъ проста и легка, слишкомъ аристократична, если можно такъ выразиться. Герценъ не могъ не видѣть этого; однако «путешествіе на воды» игрою случайностей и событій превратилось въ эмиграцію...

Тогда, въ 1847 г., ѣздили на почтовыхъ. Дорожныя впечатлѣнія, особенно зимой, постоянное визированіе паспортовъ, ожиданія на глухихъ станціяхъ — все это быстро утомляло и прѣдалось. Долго еще къ тому же Герценъ не могъ оторваться отъ стараго. Позади оставалось слишкомъ много; что было впереди — никто не зналъ. Знакомства мимоходомъ не завязывались, и первое, которое завязалось, вышло какъ первый блинъ — комомъ. Герценъ отъ скуки разлиберальничался по поводу польскаго вопроса съ какимъ-то господиномъ, обладавшимъ собственноручнымъ носомъ, и не много поздно узналъ, что это былъ полицейскій шпіонъ.

Слишкомъ мѣсяць тянулася дорога, станціи смѣнялись станціями, Берлинъ, Кельнъ, Бельгія быстро промелькнули передъ глазами. Герценъ смотрѣлъ на все полуразсѣянно, мимоходомъ, онъ торопился доѣхать и доѣхалъ наконецъ: красиво и величаво разстилался передъ нимъ на монмартрскихъ холмахъ міровой городъ.

«Я отворилъ старинное, тяжелое окно, — пишетъ онъ, — въ Hôtel du Rhin, передо мной стояла колонна

съ кувалою чугуной
Подъ шляпой, съ мраморнымъ челомъ,
Съ руками, сжатыми крестомъ.

Итакъ, я, дѣйствительно, въ Парижѣ, не во снѣ, а на яву: вѣдь это Вандомская колонна и gue de la Paix... «Въ Парижѣ» — едва ли въ этомъ словѣ звучало для меня меньше, чѣмъ въ словѣ «Москва». Объ этой минутѣ я мечталъ съ дѣтства. «Дайте же взглянуть на Hôtel de Ville, на café Fou въ Пале-Рояль, гдѣ Камилль Демуленъ сорвалъ зеленый листъ и прикрѣпилъ его къ шляпѣ, вытѣсто жокарды, съ крикомъ: «à la Bastille!»... Дома я не могъ остаться; я одѣлся и пошелъ бродить зря... искать Бакунина, Сазонова. Вотъ gue St. Honoré, Елисейскія поля — всѣ эти имена, сроднившіяся съ давнихъ лѣтъ... да вотъ и самъ Бакунинъ... Я былъ внѣ себя отъ радости...»

Увы, однако, какъ мимолетна была эта радость; она только поманила Герцена, только блеснула передъ его глазами, какъ падающая звѣзда въ темнотѣ ночи, и исчезла тамъ же, гдѣ исчезаютъ и всѣ наши горести... Прежде всего пришлось значительно разочароваться въ Парижѣ и французахъ, если не во всѣхъ, то по крайней мѣрѣ въ половинѣ изъ нихъ, и притомъ той половинѣ, которая правила страной, была прилично одѣта, говорила рѣчи и писала въ газетахъ. Слѣды этого разочарованія мы находимъ въ письмахъ Герцена того времени, часть которыхъ появилась въ «Современникѣ» за 1847 г. Какъ Гейне и Берне, какъ вполнѣдствіи нашъ Достоевскій («Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ»),—Герценъ изъ близкаго знакомства со столичной буржуазіей вынесъ впечатлѣніе самое отвратительное и удручающее. Онъ пораженъ ея развратомъ, ся мелочностью.

«Развратъ,—пишетъ онъ,—проникъ всюду — въ семью, въ законодательный корпусъ, въ литературу, прессу. Онъ настолько обыкновененъ, что его никто не замѣчаетъ, да и замѣчать не хочетъ. И это развратъ не широкій, не рыцарскій, а мелкій, бездушный, скандальный. Это развратъ торговца...»

Другого въ этомъ словѣ общества Герценъ, разумѣется, и не могъ ничего увидѣть. Та торгово-промышленная компанія, въ которую обратилась при Людовикѣ-Филиппѣ Франція, была проникнута невыразимой пошлостью, и чтобы облегчить свою душу, Герцену пришлось спуститься ниже, къ труждающемуся люду, и присмотрѣться къ его жизни. Различіе въ нравахъ поражаетъ его: онъ удивляется полному отсутствію канкана, уваженію къ женщинамъ, трогательному вниманію къ дѣтямъ въ низшихъ классахъ населенія. «Въ лачугахъ и мансардахъ,—пишетъ онъ,—меня всегда встрѣчало добродушіе». Но низшіе классы населенія не давали тона жизни. Приходилось дышать воздухомъ, пропитаннымъ мѣщанствомъ, а это было такъ тяжело, что черезъ немного мѣсяцевъ, къ осени, Герцену стало невыносимо не по себѣ въ Парижѣ. Онъ не могъ примириться съ безобразнымъ нравственнымъ паденіемъ, которое его окружало, и чувствовалъ, что въ душу его быстро забираются холодъ, недоувѣріе и «все равно» полной безнадежности. Встряхнется ли Франція?—спросилъ онъ себя, и съ этимъ вопросомъ, на который пока не было отвѣта, уѣхалъ въ Италію.

«Испуганный Парижемъ 1847 г.,—пишетъ онъ,—я было раньше раскрылъ глаза, но снова увлекся событіями, кипѣвшими возлѣ

меня. Вся Италія просыпалась на моихъ глазахъ! Я видѣлъ неаполитанскаго короля, сдѣланнаго ручнымъ, и папу, смиренно просящаго милостыню народной любви. Вихрь, поднявшій все, унесъ и меня; вся Европа взяла одръ свой и пошла въ припадкѣ лунатизма, принятаго нами за пробужденіе.»

Но все же было нѣсколько мѣсяцевъ, дней, когда дышалось хорошо и привольно,—эти мѣсяцы, эти дни Герценъ называлъ сномъ.

«О, Римъ! какъ я люблю возвращаться къ твоимъ обманамъ, какъ охотно перебираю я день за днемъ время, въ которое я былъ пьянъ тобой...»

И было съ чего. Прочтите хотя бы вотъ этотъ маленькій отрывокъ изъ воспоминаній:

«Темная ночь. Корсо покрыто народомъ, кое-гдѣ факелы. Въ Парижѣ уже съ мѣсяцъ провозглашена республика. Новости пришли изъ Милана — тамъ дерутся, народъ требуетъ войны; носится слухъ, что Карлъ-Альбертъ идетъ съ войскомъ. Говоръ недовольной толпы похожъ на перемежающійся ревъ волны, которая то приливаетъ съ шумомъ, то тихо переводитъ духъ. Толпы строятся, онѣ идутъ къ пьемонтскому послу узнать, объявлена ли война.

— Въ ряды, въ ряды съ нами!—кричатъ намъ десятки голосовъ.

— Мы иностранцы.

— Тѣмъ лучше, Santo Dio, вы наши гости.

Пошли и мы. И толпа съ страстнымъ крикомъ одобренія разступилась, Чичероваккіо и съ нами молодой римлянинъ, поэтъ народныхъ пѣсенъ, продираются съ знаменемъ, трибунъ жметъ руки дамамъ и становится съ нами во главѣ 10—12 тысячъ человекъ, и все двинулось въ томъ величавомъ и стройномъ порядкѣ, который свойствененъ только одному римскому народу.»

Прямое участіе Герцена въ итальянскихъ событіяхъ 1848 г. только этимъ и ограничилось. Втеченіе цѣлыхъ мѣсяцевъ онъ наблюдалъ нервную дрожь, овладѣвшую цѣлымъ народомъ, и чувствовалъ, какъ эта дрожь передается и ему. Свобода Италіи, свобода цѣлой страны, которую такъ долго и такъ безжалостно топтали большіе и маленькіе Меттернихи, сіяла въ будущемъ, какъ звѣзда передъ волхвами, и манила и звала къ себѣ, за собой. Нервы напряглись, всѣ приподняли голову, глаза у всѣхъ заблестѣли тѣмъ особеннымъ блескомъ вдохновенія, который говоритъ, что душа полна, что лишь торжественный гимнъ свободы можетъ удовлетворить ее въ одну минуту... Этихъ минутъ забыть нельзя.

Между тѣмъ событія разыгрывались со страшною быстротою. Въести одна другой поразительнѣе долетали изъ Франціи: король

Луи-Филиппъ бѣжалъ, провозглашена республика, опять, какъ прежде, единая, нераздѣльная и даже *perpetuelle*—вѣчная.

«Завтра—писалъ въ апрѣлѣ 48 г. Герценъ—мы ѣдемъ въ Парижъ. Я оставляю Римъ оживленнымъ, взволнованнымъ. Что то будетъ изъ всего этого? Прочно ли все это? Небо не безъ тучъ, временами вѣтеръ холодный вѣтеръ изъ могильныхъ склеповъ, наноситъ запахъ трупа, запахъ прошедшаго; историческая трамонтана *) сильна, но что бы ни было—благодарность Риму за пять мѣсяцевъ, которые я въ немъ провелъ. Что прочувствовано — то останется въ душѣ, и не сдуетъ же всего реакція.»

Герценъ ѣхалъ изъ Италіи влюбленный въ нее, ему жаль было расставаться съ нею—тамъ встрѣтилъ онъ не только великія событія, но и первыхъ симпатичныхъ ему людей—но все же онъ ѣхалъ.

«Мнѣ,—говоритъ онъ,—казалось измѣной всѣмъ моимъ убѣжденіямъ не быть въ Парижѣ, когда въ немъ республика. Сомнѣнія видны въ приведенныхъ строкахъ, но вѣра брала верхъ, и я съ внутреннимъ удовольствіемъ смотрѣлъ въ Чивиттѣ на печать консульской визы, на которой были вырѣзаны грозныя слова: «*République française*».»

* * *

Въ Парижѣ Герценъ засталъ республику, но вмѣстѣ съ нею и страшные іюньскіе дни. Время блестящихъ фразъ, конституцій и всемірнаго грома миновало. Четыре мѣсяца ликованій, въ іюнѣ стали подводить итоги. Въ итогѣ оказался нуль полный, обидный, раздражающій. Что же случилось такое? «Французы,—говоритъ Герценъ,—оказались французами—не больше». Раздраженный, обиженный, онъ далъ когда-то излюбленной націи суровую характеристику.

«Французскій народъ возстаетъ внезапно; неотразимый и грозный, какъ взбаламученное море, вступаетъ онъ въ борьбу со зломъ, противостоятъ ему, удержать его въ эти минуты — невозможно, онъ беретъ Бастилію, беретъ Тюльери, онъ отражаетъ цѣлыя арміи. Это надо переждать. По мѣрѣ того, какъ онъ одолеваетъ врага, силы его слабѣютъ, умъ тускнѣетъ, энергія исчезаетъ, онъ дѣлается равнодушнымъ къ тому, за что проливалъ кровь. Еще подобный взрывъ, какъ 24 февраля, и еще такое паденіе, какъ іюньскіе дни, и европейскіе народы отвернутся отъ Франціи и позволятъ ей бесплодно рѣзаться сколько угодно, не удостоивая ее ни симпатіей, ни участіемъ.»

*) Сѣверный вѣтеръ.

Умъ французовъ тускнѣеть быстро, и виновата въ этомъ прежде всего *фраза*, разъ она достаточно громко и блестяще высказана. Пусть смыслъ ея самый пошлый, даже гадкій — не бѣда: на нее пойдутъ, въ нее повѣрятъ.

«Французъ,—продолжаетъ Герценъ,—не свободенъ нравственно: богатый инициативой въ дѣятельности, онъ бѣденъ въ мышленіи. Онъ думаетъ принятыми понятіями, въ принятыхъ формахъ, онъ пошлымъ идеямъ даетъ модный покровъ и доволенъ этимъ. Ему трудно дается новое, даромъ, что бросается на него»...

Герценъ припоминаетъ даже обидное прозвище, данное Вольтеромъ своему народу: *le tigre-singe* (тигръ-обезьяна).

Послѣ пережитаго разочарованія трудно было дать другую характеристику. А разочарованіе на самомъ дѣлѣ было огромное, коренное—на всю жизнь.

«Утомленная правленіемъ банкировъ, изъ которыхъ главнѣйшій, богатѣйшій и ничтожнѣйшій Луи-Филиппъ Орлеанъ занималъ не принадлежавшій ему престолъ, Франція, послушная голосу «пророковъ и апостоловъ» демократіи—Луи Блана, Ледрю-Роллена, Ламартина, возстала наконецъ въ февральскіе зимніе дни 48-го года. Сразу, рѣзко, рѣшительно выяснилось, что новое движеніе будетъ отличаться другимъ характеромъ, чѣмъ пренія, что оно оставитъ старую проторенную дорожку парламентскихъ декларацій, очень звучныхъ и краснорѣчивыхъ, и повернетъ на иную дорогу—какую?»

Благоразумные люди предвидѣли и предугадывали ее. За два мѣсяца до событія Токвиль говорилъ своимъ друзьямъ и товарищамъ, начинавшимъ волновать Францію своими рѣчами, банкетами, статьями:

«Посмотрите, господа, что происходитъ въ средѣ тѣхъ рабочихъ классовъ, которые въ настоящее время спокойны. Правда, чисто политическія страсти не волнуютъ ихъ такъ же сильно, какъ волновали прежде, но развѣ вы не замѣчаете, что ихъ страсти изъ политическихъ сдѣлались социальными? Развѣ вы не знаете, что среди нихъ мало-по-малу распространяются такіа мнѣнія, которыя влчются не къ отмінію тѣхъ или другихъ законовъ, не къ ниспроверженію того или другого министерства, а къ потрясенію основъ современнаго общественнаго строя? Развѣ вы не прислушиваетесь къ тому, что говорятъ они ежедневно... Развѣ вы не слышите, что они постоянно утверждаютъ, будто все, что выше ихъ, неспособно и недостойно управлять ими, что до настоящаго времени распредѣленіе земныхъ благъ между людьми было несправедливо, что право собственности утверждено на основахъ несправедливыхъ?»

Нельзя было короче и проще сформулировать настроеніе демо-

кратіи XIX вѣка, какъ это сдѣлалъ Токвиль въ подчеркнутыхъ фразахъ. Недостаточно политическихъ правъ, вѣротерпимости, грошевыхъ газетъ и дешевыхъ путей сообщенія. Къ ужасу всѣхъ благомыслящихъ поднимался вопросъ о собственности, ея основахъ, ея происхожденіи, ея справедливости и несправедливости. Возлѣ этого-то пункта демократія XIX вѣка размѣстила свои надежды, упованія, свои привязанности и ненависть. Но XIX вѣкъ не оправдалъ ея надеждъ и высказался противъ нея...

Въ дни 24-го — 28-го февраля разыгралась страшная драма. за которой настали кровавые іюньскіе дни укрошенія рабочихъ и низверженія еще недавно съ такимъ краснорѣчіемъ провозглашенной новой республики.

«Три мѣсяца люди, избранные всеобщей подачей голосовъ, выборные всей земли французской, ничего не дѣлали и вдругъ стали во весь ростъ, чтобы показать міру зрѣлище невиданное — восьмисотъ человекъ, дѣйствующихъ какъ одинъ злодѣй, какъ одинъ извергъ. Кровь лилась рѣками, а они не нашли слова любви, примиренія; все великодушное, человѣческое покрылось воплемъ мести и негодованія, голосъ умирающаго Афра не могъ тронуть этого многоголового Калгулу; они прижали къ сердцу національную гвардію, разстрѣливавшую безоружныхъ, Сенаръ благословлялъ Кавеньява, и Кавеньякъ умильно плакалъ, исполняя всѣ злодѣйства, указанныя адвокатскимъ пальцемъ представителей. А грозное меньшинство притаялось, юра скрылась за облаками, довольная, что ее не разстрѣляли, не сгноили въ подвалахъ; молча смотрѣла она, какъ обираютъ оружіе у гражданъ, какъ декретируютъ ссылки, какъ сажаютъ въ тюрьму людей за все на свѣтѣ — за то, что они не стрѣляли въ своихъ братій...

Убіенство въ эти страшные дни сдѣлалось обязанностью; человекъ, не омочившій себѣ рукъ въ пролетарской крови, становился подозрителенъ для мѣщанъ. По крайней мѣрѣ большинство имѣло твердость быть злодѣемъ. А эти жалкіе друзья народа, риторы, пустыя сердца! Одинъ лишь мужественный плачь, одно великое негодованіе раздалось, и то въ камеры. Мрачное проклятіе старца Ламенэ останется на головахъ бездушныхъ каннибаловъ и всего ярче выступить на лбу малодушныхъ, которые, произнося слово «республика», испугались смысла его!...

Парижъ, вся Франція, вся Европа возстали на ими же провозглашенную демократію и высказались противъ ея торжества, — высказались со злобой, ожесточеніемъ, ударами штыковъ и выстрѣлами пушекъ.»

Герценъ пережилъ самъ страшные іюньскіе дни, пережилъ и торжество Наполеона III-го...

«Вечеромъ 24 іюня, — рассказываетъ онъ, — возвращаясь съ place

Manbert, я вздохнул въ кафе на набережной Огзау. Черезъ нѣсколько минутъ раздался нестройный крикъ и слышался все ближе и ближе; я подошелъ къ окну: неуклюжіе, плюгавые полумужики и полулавочники, нѣсколько навеселѣ, въ скверныхъ мундирахъ и старинныхъ киверахъ шли быстрымъ, но безпорядочнымъ шагомъ съ крикомъ: «да здравствуетъ Людовикъ-Наполеонъ!». Этотъ зловѣщій крикъ я тутъ услышалъ въ первый разъ. Я не могъ выдержать и, когда они поровнялись, закричалъ изъ всѣхъ силъ: «да здравствуетъ республика!». Близкіе къ окну показали мнѣ кулаки, офицеръ пробормotalъ какое-то ругательство, грозя шпагой, и долго еще слышался ихъ привѣтственный крикъ человѣку, шедшему наказывать собою Францію, забывшую въ своей кичливости другіе народы и свой собственный пролетаріатъ...

«25-го или 26-го іюня въ 8 часовъ утра мы пошли съ А. на Елисейскія поля; канонада, которую мы слышали ночью, умолкла, по временамъ только трещала ружейная перестрѣлка и раздавался барабанъ. Улицы были пусты, по обѣимъ сторонамъ стояла національная гвардія. На Place de la Concorde былъ отрядъ мобили; около нихъ стояло нѣсколько бѣдныхъ женщинъ съ метлами, нѣсколько трапичниковъ и дворниковъ изъ ближайшихъ домовъ, у всѣхъ лица были мрачны и поражены ужасомъ. Мальчикъ лѣтъ 17-ти, опираясь на ружье, что-то рассказывалъ; подошли и мы. Онъ и всѣ его товарищи, такіе же мальчики, были полупьяны, съ лицами, запачканными порошкомъ, съ глазами, воспаленными отъ неспянныхъ ночей и воды; многие дремали, упирая подбородокъ на ружейное дуло.— «Ну, ужъ тутъ что было, этого и описать нельзя,—замолчавъ, онъ продолжалъ: — да и хорошо такъ дрались, ну, только и мы за нашихъ товарищей заплатили; сколько ихъ попадало! я самъ до дула всадилъ штыкъ пяти или шести человѣкамъ—припомнить!»—добавилъ онъ, желая выдать себя за закоснѣлаго злодѣя. Женщины были бѣдны и молчали, какой-то дворникъ замѣтилъ: «по дѣломъ мерзавцамъ!», но дикое замѣчаніе не нашло сочувствія. Мы молча и печально пошли прочь...»

Такъ укропались послѣднія вспышки революціи, такъ Людовикъ Бонапартъ прокладывалъ себѣ путь на императорскій престолъ. Мудрено было не разочароваться.

* * *

Вскорѣ Герценъ сталъ подозрительнымъ наполеоновской полиціи, и ему пришлось бѣжать въ Женеву.

Швейцарія была тогда сборнымъ мѣстомъ, куда сходились со всѣхъ сторонъ уцѣлѣвшіе остатки европейскихъ движеній. Представители всѣхъ неудавшихся революцій кочевали между Женевой и Базелемъ, толпы ополченцевъ переходили Рейнъ, другіе спускались

съ С.-Готарда или шли изъ-за Юры. Кантональное правительство не гнало ихъ, кантоны твердо держались за свое старинное право убѣжища.

Точно на смотрѣ церемоніальнымъ маршемъ проходили по Женевѣ, останавливались, отдыхали и шли дальше всѣ эти люди, которыми была полна молва. Приверженцы Луи Блана, Мадцини, Кошута собрались въ одномъ мѣстѣ. Странная должна была устроиться жизнь подѣ постоянной угрозой новаго изгнанія и голодной смерти.

«Я долженъ сказать,—пишетъ Герценъ,—что эмиграція, предпринимаемая не съ опредѣленной цѣлью, а вызванная побѣдой противной партіи, замыкаетъ развитіе и утягиваетъ развитіе изъ живой дѣятельности въ призрачную. Выхода изъ родины съ затаенной злобой, съ постоянной мыслью завтра снова въ нее ѣхать, люди не идутъ впередъ, а постоянно возвращаются къ старому, надежда мѣшаетъ осядлости и длинному труду; раздраженіе и пустые, но озлобленные споры не позволяютъ выйти изъ извѣснаго числа вопросовъ, мыслей, воспоминаній, изъ которыхъ образуется обязательное, тяготящее преданіе. Люди вообще, но пуще всего люди въ исключительномъ положеніи имѣютъ такое пристрастіе къ формализму, къ цеховому духу, къ профессиональной наружности, что тотчасъ принимаютъ свой ремесленническій, доктринерскій типъ. Всѣ эмиграціи, отрѣзанныя отъ живой среды, въ которой принадлежали, закрываютъ глаза, чтобы не видѣть горькихъ истинъ, и вживаются больше въ фантастическій замкнутый кругъ, состоящій изъ косныхъ воспоминаній и несбыточныхъ надеждъ. Если прибавимъ къ тому отчужденіе отъ не-эмигрантовъ, что-то озлобленное, исключительное, ревнивое, то новый, упрямый Израиль будетъ совершенно понятенъ.»

Эмигранты 1849 г. не вѣрили еще въ продолжительность побѣды своихъ враговъ, хмѣль недавнихъ успѣховъ еще не проходилъ у нихъ, пѣсни ликующаго народа и его рукоплесканія еще раздавались въ ихъ ушахъ. Они твердо вѣрили, что ихъ пораженіе—минутная неудача и не перекладывали платья изъ чемодана въ комода. Между тѣмъ Парижъ былъ подѣ надзоромъ полиціи, Римъ палъ подѣ ударами французовъ, Баденъ захватили пруссаки, Венгрію—князь Паскевичъ-Эриванскій, Женева была биткомъ набита выходцами. Все это толпилось въ отелѣ де Бергъ, въ почтовомъ кафе, на улицахъ. Умѣйшіе стали догадываться, что эта эмиграція не минутна, поговаривали объ Америкѣ и уѣзжали. Большинство совсѣмъ напротивъ, и въ особенности французы, вѣрные своей надеждѣ, ждали всякій день смерти Наполеона, и народненія республики демократической и соціальной—одни; другіе—демократической, отнюдь не соціальной...

Что дѣлать? Самымъ простымъ, естественнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ самымъ невозможнымъ дѣломъ оказывалось изданіе журналовъ. Это было тогда повальной болѣзнью. Каждая двѣ-три недѣли возникали проекты, являлись образчики, разсылались программы, потомъ выходило нумера два-три—и все исчезало безслѣдно. Люди, ни на что неспособные, все еще считали себя способными издавать журналъ, сколачивали сто-двѣсти франковъ и употребляли ихъ на первый и послѣдній листъ.

Тянулась скучная, однообразная и вмѣстѣ съ тѣмъ тревожная жизнь... Не умеръ ли Наполеонъ, не возсталъ ли вновь Венгрія, Италия?... Эти вопросы задавались каждое утро цѣлые мѣсяцы, цѣлые годы... Пока изобрѣтались теоріи и проекты. Эмигрантъ Струве надѣдалъ всѣмъ своею теоріей семи бичей, эмигрантъ Геннденъ требовалъ двухъ миллионовъ головъ для очищенія человѣчества. Споры между социалистами и чистыми демократами волновали пропитанную дымомъ атмосферу кафе, не приводя ни къ чему, кромѣ личнаго раздраженія. Мучительно было жить среди этихъ людей, сбитыхъ съ пути, затоптанныхъ въ пыль и грязь, которымъ лишь одинъ слѣпой фанатизмъ давалъ какое нибудь утѣшеніе.

Вожжи были тутъ же, но это мало помогало дѣлу. Въ Женевѣ между прочимъ жилъ въ то время знаменитый Маццини. Герценъ зналъ его, видѣлся съ нимъ, и вотъ что онъ объ немъ вспоминаетъ:

«Маццини очень простъ, очень любезенъ въ обращеніи, но привычка властвовать видна, особенно въ спорѣ: онъ едва можетъ скрыть досаду при противорѣчій, а иногда и не скрываетъ ея. Силу свою онъ знаетъ и откровенно пренебрегаетъ всѣми наружными знаками дикторіальной обстановки. Популярность его была тогда огромна. Въ своей маленькой комнаткѣ, съ вѣчной сигарой во рту, Маццини въ Женевѣ, какъ нѣкогда папа въ Авиньонѣ, сосредоточивалъ въ своей рукѣ нити психическаго телеграфа, приводившія его въ живое сообщеніе со всѣмъ полуостровомъ. Онъ зналъ каждое бѣненіе сердца своей партіи, чувствовалъ малѣйшее сотрясеніе, немедленно отвѣчалъ на каждое слово и давалъ общее направленіе всему и всѣмъ съ поразительной неутомимостью. Фанатикъ и въ то же время организаторъ, онъ покрывалъ Италію сѣтью тайныхъ обществъ, связанныхъ между собою и шедшихъ къ общей цѣли. Общества эти вѣтвились неуловимыми артеріями, дробились, мелькали и исчезали въ Апенинахъ или Альпахъ, въ царственныхъ palazzi аристократовъ и въ темныхъ переулкахъ итальянскихъ городовъ. Сельскіе попы, кондуктора, ломбардскіе принципіе, контрабандисты, трактирщики, женщины, бандиты—все шло на дѣло, всѣ были звенья цѣпи, примыкавшей къ нему и повиновавшейся ему. Послѣдовательно со временъ Менотти

и братьевъ Бандьеръ, радъ за рядомъ выходить восторженные юноши, энергическіе плебеи, энергическіе аристократы и идутъ по указаніямъ Маццини, рукоположенного старцемъ Бонаротти,—идутъ на неравный бой, пренебрегая цѣпями и примѣшивая иной разъ къ предсмертному крику: «Viva l'Italia! Evviva Mazzini!».

Но Маццини былъ рѣдкость, исключеніе, вождь; обычныя дѣла приходилось вести съ обычными людьми, а это было тѣмъ труднѣе, что почти всѣ эти дѣла вращались около денегъ. Однимъ изъ самыхъ серьезныхъ бѣдствій эмигрантовъ—добывавшихъ ихъ окончательно—была почти поголовная нищета и чисто органическая неспособность трудиться послѣ революціоннаго угара. На Герцена, какъ на человѣка богатаго, смотрѣли какъ на кредитное учрежденіе, а къ чему приводилъ такой взглядъ—понять легко. Для образчика разскажу одинъ эпизодъ: исправлявшій нѣкогда должность министра внутреннихъ дѣлъ «временнаго германскаго» правительства написалъ ему записку, въ которой просилъ найти ему какую нибудь работу, Герценъ предложилъ ему переписывать для печати рукопись «Vom andern Ufer» («Съ того берега»), которую онъ самъ диктовалъ по нѣмецки съ русскаго оригинала. Молодой человѣкъ принялъ предложеніе. Черезъ нѣсколько дней онъ сказалъ, что помѣщенъ дурно, что у него нѣтъ ни мѣста, ни тишины, чтобы заниматься, и просилъ позволенія переписывать въ комнатѣ сожителя Герцена, Капа. И тутъ работа не пошла. «Министръ» приходилъ въ 11 часовъ утра, лежалъ на диванѣ, курилъ сигары, пилъ пиво и уходилъ вечеромъ куда нибудь на сходку. Черезъ нѣсколько дней онъ попросилъ у Герцена запиской сто франковъ впередъ за работу. Герценъ послалъ ему двадцать, за что нѣмецкіе эмигранты рѣшили съ нимъ не кланяться.

* *
*

Во время своего пребыванія въ Женевѣ Герценъ написалъ памфлетъ «Съ того берега». Въ какомъ настроеніи создавалась книга?

«Страшное это время—говоритъ онъ—было въ моей жизни. Штиль между двухъ ударовъ грома, штиль томящій, тяжелый, но не казистый; примѣты грозили пальцемъ, но я и тутъ еще отворачивался отъ нихъ. Жизнь шла неровно, нестройно, но въ ней были свѣтлые дни, за нихъ я обязанъ величественной швейцарской природѣ. Даль отъ людей и изыщная природа имѣютъ удивительное цѣлебное вліяніе. Я по опыту писалъ въ «Поврежденномъ». Когда душа носить въ себѣ великую печаль, когда человѣкъ не настолько сладилъ съ

собою, чтобы примириться съ прошедшимъ, чтобы успокоиться на пониманіи, ему нужна даль и горы, море и теплый воздухъ. Нужны для того, чтобы грусть не превращалась въ ожесточеніе, въ отчаяніе, чтобы онъ не зачерствѣлъ.»

Полтора года, проведенные Герценомъ въ средоточіи политическихъ смутъ и распрей, въ постоянномъ раздраженіи, въ виду кровавыхъ зрѣлищъ, страшныхъ паденій и мелкихъ измѣнъ, осаждали много горечи, тоски и устали на дѣло его души. Иронія его принимала другой характеръ; потерявши свое добродушіе, она стала колоть, рѣзать. Грановскій, прочтя въ это время «Съ того берега», писалъ ему:

«Книга твоя дошла до насъ, я читалъ ее съ радостью, съ гордымъ чувствомъ. Но при всемъ томъ въ ней есть что то усталое; ты стоишь слишкомъ одиноко и, можетъ, сдѣлаешься великимъ писателемъ, но что было въ Россіи живого и симпатичнаго для всѣхъ въ твоёмъ талантѣ, какъ будто исчезло на чужой почвѣ»...

Грановскій правъ: Герценъ за границей сталъ писать неизмѣримо лучше, чѣмъ писалъ въ Россіи, но это было другое: отъ проповѣди, отъ зова впередъ онъ перешелъ къ исповѣди. Вскорѣ прошлое стало главной, почти единственной темой его думъ, а *прошлое*—хорошее или дурное—всегда грустно.

«Но могъ ли,—спрашиваетъ Герценъ,—человѣкъ пройти искусомъ 1848 и 49 гг. и остаться тѣмъ же? Я самъ чувствовалъ эту перемену. Только дома, безъ постороннихъ,—находили прежнія минуты, но не свѣтлаго смѣха, а свѣтлой грусти; вспоминая бывшее, нашихъ друзей, вспоминая недавнія картины римской жизни, возлѣ кровати спящихъ дѣтей или глядя на ихъ игру, душа настраивалась какъ прежде, какъ нѣкогда—на нее вѣяло свѣжестью, молодой поэзіей, полной кроткой гармоніей; на сердцѣ становилось хорошо, тихо и подъ влияніемъ такого вечера легче жилось день, другой»...

Въ эти-то дни раздумья, полной неизвѣстности насчетъ будущаго и появился памфлетъ «Съ того берега» («Vom andern Ufer»). Онъ былъ какъ бы итогомъ революціонной бури, пронесшейся надъ Европой. Теперь съэтимъ итогомъ не согласиться нельзя. Въ свое же время онъ не удовлетворялъ никого. Надежда еще не остыла тогда, и вѣрующіе сочли Герцена измѣнникомъ, защитники стараго были одинаково недовольны: *имъ Герценъ не обѣщалъ побѣды*...

Суровую оцѣнку «Съ того берега» находимъ мы въ сочиненіяхъ А. М. Скабичевскаго. Сущность его мыслей сводится къ слѣдующему.

Формы европейской гражданственности, по мнѣнію Герцена, ея цивилизація, ея добро и зло разочтены по другой сущности, развились изъ иныхъ понятій, сложились по инымъ потребностямъ. До нѣкоторой степени формы эти, какъ все живое, были измѣняемы, но, какъ все живое, измѣняемы до нѣкоторой степени; организмъ можетъ воспитываться, отклоняться отъ назначенія, прилаживаться къ вліяніямъ до тѣхъ поръ, пока отклоненія не отрицаютъ его особенности, его индивидуальности, то, что составляетъ его личность; какъ скоро организмъ встрѣчаетъ такого рода вліянія, дѣлается борьба, и организмъ побѣждаетъ или гибнетъ. Явленіе смерти въ томъ и состоитъ, что составныя части организма получаютъ иную цѣль; онѣ не пропадаютъ; пропадаетъ личность, а онѣ вступаютъ въ рядъ совсѣмъ другихъ отношеній, явленій.

Подобнаго рода сравненія, на первый взглядъ, представляются остроумными и заманчивыми. Но начните вдумываться въ нихъ, и вы увидите, что, съ одной стороны, здѣсь смѣшиваются понятія народнаго организма, формъ общественныхъ отношеній и цивилизаціи; съ другой стороны, въ основѣ лежитъ гипотеза весьма шаткая и до сихъ поръ недоказанная, именно та, что будто общественные организмы совершенно аналогичны съ животными и подчинены тѣмъ же законамъ жизни и смерти. Еслибы даже подобная гипотеза и была доказана, то и въ такомъ случаѣ мы не имѣли бы права судить о томъ, разлагается ли европейская цивилизація, или нѣтъ, имѣя въ рукахъ такое неопредѣленное мѣрило, какъ отношеніе сложившихся исторически формъ жизни къ пережитымъ идеямъ. Какъ ни худы эти формы, но люди къ нимъ привыкли, обжились въ нихъ; новыя же идеи такъ недавно появились, что большинство даже и не знаетъ объ ихъ существованіи; другіе такъ мало еще вникли въ нихъ, что скользятъ по нимъ поверхностно, весьма смутно сознавая ихъ. Мы не знаемъ поэтому, что будетъ.

И дальше:

Естественно, что вполне на почвѣ фантазіи становится Герценъ, когда онъ переходитъ къ предсказаніямъ будущаго. По его мнѣнію, одно утѣшеніе и остается, что будущія поколѣнія вырождаются еще больше, еще больше обмелѣютъ, обнищаютъ умомъ и сердцемъ, имъ уже и наши дѣла будутъ недоступны, и наши мысли будутъ непонятны. Народы передъ паденіемъ тупѣютъ, ихъ пониманіе помрачается, они выживаютъ изъ ума, какъ эти Меровинги, зачинав-

шіеся въ развратѣ и кровосмѣшеніяхъ и умиравшіе въ какомъ-то чаду, ни разу не пришедшіе въ себя; какъ аристократія, выродившаяся до болѣзненныхъ кретиновъ, измельчавшая въ ростѣ, искажившаяся въ чертахъ... и мѣщанская Европа изживаетъ свою бѣдную жизнь въ сумеркахъ тупоумія, въ вялыхъ чувствахъ, безъ убѣжденій, безъ изящныхъ искусствъ, безъ мощной поэзіи. Слабыя, хилыя, глупыя поколѣнія протянутся какъ нибудь до взрыва, до той или другой лавы, которая ихъ покроетъ каменнымъ покрываломъ и предасть забвенію лѣтописей. А тамъ? А тамъ настанетъ весна, молодая жизнь закипитъ на ихъ гробовой доскѣ; варварство младенчества, полное неустroенныхъ, но здоровыхъ силъ, замѣнитъ старческое варварство; дикая, свѣжая мощь распахнется въ молодой груди новыхъ народовъ и начнется новый кругъ событій и третій томъ всеобщей исторіи. Основной тонъ его мы можемъ понять теперь. Онъ будетъ принадлежать социальнымъ идеямъ. Соціализмъ разовьется во всѣхъ фазахъ своихъ до крайнихъ послѣдствій, до нелѣпостей. Тогда снова вырвется изъ титанической груди революціоннаго меньшинства крикъ отрицанія, и снова начнется смертная борьба, въ которой социализмъ займетъ мѣсто нынѣшняго консерватизма и будетъ побѣжденъ грядущею, неизвѣстною намъ революціей... Вѣчная игра жизни, безжалостная смерть, неотразимая, какъ рожденіе, *corsi e ricorsi* исторіи, *perpetuum mobile* жизни. («Соч. Скабичевского», т. I, 2-е изд.)

Г. Скабичевскій совершенно правъ: Герценъ на самомъ дѣлѣ слишкомъ много фантазируетъ во всемъ, что касается будущаго, онъ слишкомъ субъективенъ, слишкомъ лирикъ, чтобы можно было положить на его предсказанія. Но въ статьѣ «Съ того берега» есть другая сторона, отмѣтить которую мнѣ представляется безусловно необходимымъ. Здѣсь Герценъ если не первый понялъ, то по крайней мѣрѣ первый высказался насчетъ совершенно особеннаго характера революціи 48-го года.

Соціалисты ведутъ съ нея свою эру. Въ февральскіе дни шла рѣчь не о конституціяхъ, не о правѣ народностей на самостоятельное существованіе—хотя и это все было,—а о томъ: должны ли существовать *прежнія формы* собственности, или нѣтъ? Центральнымъ вопросомъ былъ вопросъ о трудѣ и его правахъ. Правда, этотъ вопросъ поднимался и раньше, но сами рабочіе своихъ правъ такъ громко и рѣшительно, какъ въ 48-мъ году, не заявляли еще никогда.

Послѣ 48-го года слова «свобода», «республика», «парламентъ» утѣрали значительную долю своего обаянія; изъ области политической и религіозной центръ тяжести европейской жизни перемѣстился въ экономическую. Какъ ни рѣзка формула: «die Socialfrage ist die Magenfrage» — она справедлива.

Въ Западной Европѣ теперь нѣтъ классовъ, нѣтъ сословій — или, лучше сказать, тамъ только два класса, два сословія: собственники и пролетаріи. Какъ двѣ враждебныя арміи стоятъ они другъ противъ друга: посреди ровное поле, на которомъ въ 1848 году и произошла рѣшительная стычка. Побѣда, разумѣется, осталась на сторонѣ первыхъ. Всѣ правительства и элементы порядка примкнули къ нимъ. Стычки съ той поры не прекращаются; они обагрили кровью Парижъ во дни коммуны, передались за океанъ въ Америку и стали тамъ почти обычнымъ явленіемъ.

Передъ грознымъ вопросомъ труда блѣднѣютъ всѣ остальные.

Съ 48-го года политическіе и социальные реформаторы раздѣлились и пошли по разнымъ дорогамъ. Маццини — демократъ и революціонеръ сталъ писать брошюры противъ социализма; для либераловъ Марксъ не можетъ представляться иначе, какъ чудовищемъ; Лассаль всю жизнь велъ жестокую борьбу съ свободомыслящими. На знамени однихъ было написано: «свобода и прогрессъ», на знамени другихъ: «право труда».

Вотъ это Герценъ понялъ и вотъ что онъ первый высказалъ. Увидя, что, не разрѣшивши вопроса о трудѣ, — нельзя сдѣлать и шагу впередъ, онъ отшатнулся отъ либерализма и либеральной Европы, откровенно сказалъ онъ имъ: «вы пережили себя, вамъ нечего больше дѣлать». Но можетъ ли не только либеральная Европа, а Европа вообще разрѣшить социальный вопросъ? Прямо Герценъ никогда не отвѣчалъ на это, онъ ограничивался утвержденіемъ, что, не разрѣшивши его, — Европа погибнетъ. Во всякомъ случаѣ онъ предвидѣлъ долгую, упорную борьбу, — борьбу цѣлыхъ столѣтій.

Сила европейскаго мѣщанства, его живучесть — поражали его. Онъ презиралъ его, относился къ нему рѣзко и круто, и все же сознавалъ, что исторія принадлежитъ ему, на долго ли — Богъ вѣсть.

«Тяжелое зданіе феодализма рухнуло, долго ломали стѣны, отбивали замки... еще ударъ, еще проломъ сдѣланъ — храбрые впередъ, ворота открыты — и толпа хлынула, только не та, которую

ждали. Кто это такие? Изъ какого вѣка? Это не спартанцы, не великій *populus romanus*... *Davus sum, non Edipus!* Неотразимая волна грязи залила все. Въ террорѣ 93 и 94 гг. выразился внутренний ужасъ якобинцевъ; они увидѣли свою страшную ошибку, хотѣли ее поправить гильотиной, но, сколько ни рубили головъ, все-таки склонили свою собственную передъ силою восходящаго слоя. Все ему покорилось, онъ сломилъ революцію и реакцію, онъ затопилъ старыя формы и наполнилъ ихъ собой, потому что онъ составлялъ единственное дѣятельное и современное большинство.

«Мы — говорить въ другомъ мѣстѣ Герценъ — вообще знаемъ Европу школьно, литературно, т. е. мы не знаемъ ея, а судимъ à l'ivre ouvert, по книжкамъ и картинкамъ... Поживши годъ-другой въ Европѣ, мы съ удивленіемъ видимъ, что вообще западные люди не соответствуютъ нашему понятію о нихъ, что они гораздо ниже его... Въ идеалъ, составленный нами, входятъ элементы вѣрные, но или не существующіе болѣе, или совершенно измѣнившіеся. Рыцарская доблесть, изящество аристократическихъ нравовъ, строгая чинность протестантовъ, гордая независимость англичанъ, роскошная жизнь итальянскихъ художниковъ, испрышійся умъ энциклопедистовъ и мрачная энергія террористовъ — все это переплавилось и переродилось въ цѣлую совокупность другихъ господствующихъ нравовъ — мѣщанскихъ. Они составляютъ цѣлое, т. е. замкнутое, оконченное въ себѣ возрѣніе на жизнь, съ своими преданіями и правилами, съ своимъ добромъ и зломъ, съ своими пріемами и съ *своей нравственностью низшаго порядка*.

«Хаотическій просторъ этотъ особенно способствовалъ развитію всѣхъ мелкихъ и дурныхъ сторонъ мѣщанства, подъ всемогущимъ вліяніемъ ничѣмъ необуздываемаго стяжанія.

«Разберите моральныя правила, которыя въ ходу съ полвѣка; чего тутъ нѣтъ? Римскія понятія о государствѣ съ готическимъ раздѣленіемъ властей, протестантизмъ и политическая экономія, *Salus populi* и *chacun pour soi*, Брутъ и Ома Кемпійскій, Евангеліе и Бентамъ, превосходное счетоводство и Ж.-Ж. Руссо. Съ такимъ сумбуромъ въ головѣ и съ магнитомъ, вѣчно притягиваемымъ къ золоту, въ груди не трудно было дойти до тѣхъ нелѣпостей, до которыхъ дошли передовыя страны Европы, между ними и Англія.

«Вся нравственность свелась на то, что немущій долженъ всѣми средствами приобрѣтать, а имущій — хранить и увеличивать свою собственность; флагъ, который поднимаютъ на рынокъ для открытія торгова, сталъ хоругвью новаго общества. Человѣкъ *de facto* сдѣлался принадлежностью собственности; жизнь свелась на постоянную борьбу изъ-за денегъ.

«Политическій вопросъ съ 1830 года дѣлается исключительно вопросомъ мѣщанскимъ, и вѣковая борьба высказывается страстями и влеченіями господствующаго состоянія, жизнь свелась на биржевую игру, все превратилось въ мѣняльныя лавочки и рынки — редакція журналовъ, избирательныя собранія, камеры. Англичане до

того привыкли все приводить къ лавочной номенклатурѣ, что называютъ свою старую церковь—Old Shop (старая лавочка).

«Всѣ партіи и отѣнки мало-по-малу раздѣлились въ мірѣ мѣщанскомъ на два главные стана: съ одной стороны, мѣщане-собственники, упорно отказывающіеся поступиться своими монополіями, съ другой—неимущіе мѣщане, которые хотятъ вырвать изъ рукъ ихъ достояніе, но не имѣютъ силы, т. е. съ одной стороны скупость, съ другой—зависть. Такъ какъ дѣйствительно нравственного начала во всемъ этомъ нѣтъ, то и мѣсто лица въ той или другой сторонѣ определяется внѣшними условіями состоянія,—общественнаго положенія. Одна волна оппозиціи за другой достигаетъ побѣды, т. е. собственности или мѣста, и естественно переходитъ со стороны зависти на сторону скупости. Для этого перехода ничего не можетъ быть лучше, какъ качка парламентскихъ преній—она даетъ движеніе и предѣлы, даетъ видъ дѣла и форму общихъ интересовъ для достиженія своихъ личныхъ цѣлей.

«Мѣщанскіе вопросы—это *ordre du jour*, само мѣщанство—грозная могучая сила. Подъ его вліяніемъ все перемѣнилось въ Европѣ. Рыцарская честь замѣнилась бухгалтерской честностью, изящные нравы—правами чинными, вѣжливость—чопорностью, гордость—обидчивостью, парки—огородами, дворцы—гостинницами, открытыми для всѣхъ (т. е. для всѣхъ, имѣющихъ деньги).

«Такова—разсказываетъ Герценъ—общая атмосфера европейской жизни. Она тяжела и невыносима тамъ, гдѣ современное западное состояніе наиболее развито, тамъ, гдѣ оно вѣрнѣе своимъ началамъ, гдѣ оно богаче, образованнѣе, т. е. промышленнѣе. И вотъ отчего гдѣ нибудь въ Италіи или въ Испаніи не такъ невыносимо удушливо жить, какъ въ Англіи и во Франціи. И вотъ отчего горная, бѣдная сельская Швейцарія—единственный клочекъ Европы, въ который можно удалиться съ миромъ.»

Боюсь, что, прочтя эти суровыя, мрачныя строки, читатель причислитъ Герцена къ разряду пессимистовъ; боюсь потому, что болѣе грубой ошибки нельзя и сдѣлать. Онъ не сталъ пессимистомъ. а распростился съ послѣдними слѣдами романтизма, юности, Шиллера. Его міровоззрѣніе получило въ страшную годину 49 г. послѣднюю отдѣлку, оно отчеканилось уже на всю жизнь...

Не надо обманываться внѣшностью. Въ Герценѣ сильна художественная заправка, поэтому онъ слишкомъ сильно подчиняется настроенію и передаетъ намъ его въ сконцентрированномъ видѣ. Несомнѣнно, что онъ разочаровался во многомъ, несомнѣнно, что его семейныя дѣла обстояли неблагополучно, но даже и теперь его не покидаетъ трезвость мысли, даже и тутъ не доходитъ онъ до отчаянія...

Не пессимизмъ проповѣдуетъ онъ, не отрицаніе, а если позво-

лительно такъ выразиться—антиромантизмъ, т. е. признаніе истины, какой бы она ни была, и смиреніе (это его собственное слово) передъ ней. Послѣдовательный реализмъ не можетъ не закончиться этимъ.

«Тьмы низкихъ истинъ намъ дороже — насъ возвышающій обманъ»—говорилъ когда-то Пушкинъ. Правъ онъ или не правъ,—споръ безконечный. Одному нуженъ обманъ, нужна иллюзія, какъ источникъ вдохновенія, энергіи,—самой жизни; другой способенъ обойтись безъ обмана и безъ иллюзій и работать, питаясь одной черствой коркой истины. Послѣдній выходъ, разумѣется, труднѣе, но зато и безопаснѣе; съ истиной, хотя бы и самой низкой—(вообще говоря, ни низкихъ, ни высокихъ истинъ нѣтъ, какъ нѣтъ ихъ ни красныхъ, ни зеленыхъ)—не оступишься, а съ «насъ возвышающимъ обманомъ» оступиться легко, да еще какъ...

× Идо поѣздки за границу Герценъ проповѣдывалъ, что жизнь не романъ, что устраивается она совсѣмъ не такъ, какъ мы того хотимъ; за границей эта истина предстала передъ нимъ во всей своей суровости и жестокосердіи, а главное уже въ слишкомъ большомъ масштабѣ.× Первое время это было мучительно тяжело, какъ мучительно тяжела смерть дорогого человѣка, хотя бы о неминуемости ея было завѣдомо извѣстно цѣлые мѣсяцы и годы. Но надо смириться... Во имя чего же?

«Насъ сердить, выводить изъ себя нелѣпость, несправедливость жизненныхъ фактовъ — пишетъ Герценъ.—Какъ будто кто нибудь (кромя насъ самихъ) обѣщалъ, что все въ мірѣ будетъ изящно, справедливо и идти какъ по маслу. Довольно удивлялись мы отвлеченной премудрости природы и историческаго развитія, пора догадаться, что въ природѣ и исторіи много случайнаго, глупаго, неудавшагося, спутаннаго. Разумъ, мысль — это заключеніе; все начинается тупостью новорожденнаго, возможность и стремленіе лежатъ въ немъ, но прежде чѣмъ онъ дойдетъ до развитія и сознанія — онъ подвергается ряду внутреннихъ и вѣшнихъ вліяній, отклоненій, остановокъ...

«Сознаніе безсилія идеи, отсутствіе обязательной силы истины надъ дѣйствительнымъ міромъ огорчаетъ насъ. Мы скорбимъ, болимъ. Боль эта пройдетъ со временемъ, трагическій и страстный характеръ уляжется, ее почти нѣтъ въ Новомъ Свѣтѣ Соединенныхъ Штатовъ.

«Но чему нибудь послужили и мы. Наше историческое призваніе, наше дѣяніе въ томъ и состоитъ, что мы нашимъ разочарованіемъ, нашимъ страданіемъ доходимъ до смиренія и покорности передъ истиной и избавляемъ отъ этихъ скорбей слѣдующія поколѣнія.

Наше челоѡѣчество протрезвляется, мы—его похмѣлье, мы—его боли родовъ.

«Мы знаемъ, какъ природа распоряжается съ личностями: послѣ, прежде, безъ жертвъ, на горахъ труновъ—ей все равно, она продолжаетъ свое, или такъ продолжаетъ, что попало—десятки тысячъ лѣтъ наносить какой нибудь коралловый рифъ, всякую весну покидая смерти забѣжавшіе ряды. Полипы умираютъ, не подозрѣвая, что они служили прогрессу... Чему нибудь послужимъ и мы... Войти въ будущее какъ элементъ—не значить еще, что будущее исполнитъ наши идеалы. Римъ не исполнилъ ни Платонову республику, ни вообще греческій идеалъ. Средніе вѣка не были развитіемъ Рима. Современная западная мысль воплотится въ исторію, будетъ имѣть свое вліяніе и мѣсто, такъ какъ тѣло наше войдетъ въ составъ травы, людей. Намъ не нравится это безсмертіе, что же съ нимъ дѣлать?..

— Только одно: быть рыцаремъ истины».

Х.

Переѣздъ въ Лондонъ. — Послѣдніе годы.

Слѣдить за постоянными странствованіями Герцена изъ мѣста въ мѣсто, изъ стороны въ сторону — у меня нѣтъ ни мѣста, ни желанія. Упомяну лишь о важнѣйшихъ эпизодахъ послѣдняго періода его жизни.

Несчастія, праздность и нужда внесли въ жизнь эмиграціи нетерпимость, упрямство, раздраженіе. Она разбивалась на маленькія кучки, средоточіемъ которыхъ являлись имена, чувство, а не принципы. Взглядъ, постоянно обращенный назадъ, и исключительное замкнутое общество портили характеръ, развивали злобу. Жить въ этой обстановкѣ, дышать этой атмосферой было невыносимо тяжело. Надежды не оправдывались, сознаніе не двигалось ни на шагъ, мысль дремала. Примириться съ дѣйствительностью не хотѣлось, да и трудно было сдѣлать это людямъ, чья жизнь оказалась проигранной картой.

Изъ Женевы Герценъ уѣхалъ въ Цюрихъ, изъ Цюриха — въ Парижъ, но уѣхать отъ себя, отъ исторіи, дѣйствительности — было некуда. Жизнь шла своей дорогой и каждымъ фактомъ своимъ говорила, что ей нѣтъ ни малѣйшаго дѣла до желаній и надеждъ человѣческихъ.

Пришлось признать власть жизни, пришлось уступить ей.

«Печально сидѣлъ я разъ — пишетъ Герценъ — въ мрачномъ, непріятномъ Цюрихѣ, въ столовой у моей матери... Я уѣхалъ на другой день въ Парижъ... день былъ холодный, снѣжный, два-три полѣна нехотя, дымаясь и треща, горѣли въ каминѣ, всѣ были заняты укладкой, я сидѣлъ одинъ одиноконекъ... женевская жизнь носилась передъ глазами, впереди все казалось темно, а чего то боялся и мнѣ было такъ невыносимо, что, если бы я могъ, я бросился бы на во-

лѣни, я плакалъ бы и молился бы, но я не могъ, и вмѣсто молитвы написалъ *промятіе*...

Разумѣется, не Парижъ могъ успокоить гордую, встревоженную душу. Парижъ того времени призналъ Наполеона и лежалъ у его ногъ безъ мысли, безъ собственного достоинства. Его тѣшили и развлекали. Императоръ сказать, что онъ долженъ быть первымъ городомъ, и Парижъ на самомъ дѣлѣ становился имъ. Проводились новые кварталы, всюду шли постройки, всюду гремѣла музыка. Гюго съ острова Джерсея слалъ свои проклятія, свою ненависть; его никто не слушалъ, его никому было слушать.

Имперія торжествовала, торжествовала не только потому, что Людовикъ Бонапартъ сидѣлъ на престолѣ, — а потому, что ея принципы вошли въ жизнь и пронизали ее. Въ сущности всѣ эти принципы сводились къ одному: надо наслаждаться... Наслажденіи искали жадно, плохо разбирая, какія они; на нихъ бросались, какъ голодные на хлѣбъ, упивались ими, какъ пьяница виномъ. «Мѣщанство заполонило жизнь. Оно развило биржевую игру до азарта, громадными буквами написало оно на своемъ знамени: «нажива и наслажденіе».

Безумная роскошь царила въ Тюльери, жажда такой же безумной роскоши царила въ жизни. Престолъ, занятый авантюристомъ, давалъ тонъ всему — Парижу, Франціи, даже Европѣ. Всюду пошли наполеоновскія эспаньолки, наполеоновскіе усы. Старались молчать, какъ молчалъ императоръ, съ выраженіемъ политѣйшаго равнодушія въ лицѣ, старались говорить, какъ онъ, — отрывистыми, какъ бы неохотно брошенными фразами. Какъ одному человѣку, рѣшительно ничѣмъ не замѣчательному, удалось положить печать на всю жизнь, пустить въ европейское обращеніе даже свою прическу — это загадка.

«Въ Парижѣ — пишетъ Герценъ — я видѣлъ только Бонапарта. Онъ очевидно вездѣсущъ. Въ ресторанѣ онъ сидитъ противъ васъ и ѣстъ трюфеля въ салфеткѣ, въ театрѣ — онъ рядомъ съ вами, на улицѣ онъ ежеминутно попадаетъ вамъ на глаза. Бѣжать отъ него, уйти, не видѣть его — невозможно.»

Наполеонъ и торжествующее мѣщанство — вотъ все, что приходилось видѣть въ Европѣ; все остальное было въ тѣни, загнано въ уголъ. «Мѣщанское растлѣніе пробралось во всѣ тайники семейной и частной жизни... Никогда католицизмъ, никогда рыцарство не отпечатлѣвались такъ глубоко, такъ многосторонне на людяхъ, какъ

буржуазія...» Сила его—громадная историческая сила въ томъ, что оно ни къ чему не обязываетъ, ничего не требуетъ отъ человѣка, кромѣ умѣнья быть «удачникомъ».

Въ Парижѣ Герцену, разумѣется, не разрѣшили остаться и попросили выѣхать въ двадцать четыре часа. Срокъ удалось увеличить до одного мѣсяца, по истеченіи котораго пришлось покинуть прекрасную Францію съ ея Бонапартами, большими и маленькими. Начались скучные годы скитаній изъ города въ городъ, изъ страны въ страну. Бездомная жизнь тяготила, непріятности сыпались градомъ. Въ 52-мъ году умерла Наталья Александровна, въ предшествующемъ году (1851) Герценъ потерялъ мать и младшаго сына Колю. Какъ было не поддаться грусти возлѣ трехъ дорогихъ могилъ, тѣмъ болѣе, что въ одной изъ нихъ скрылась жизнь, почти цѣлкомъ истраченная на невысказанныя и непонятныя муки.

Отчаянью Герценъ не поддавался, все еще многое оставалось въ жизни, но кипучая энергія и душевная бодрость ушли невосвратно.

Вообще годы отъ 52-го до 56-го самые тяжелые въ жизни Герцена. Безконечной надрывающей грустью вѣтъ отъ всего, что вышло за это время изъ-подъ его пера. Мысль его привязалась къ мрачнымъ сторонамъ жизни и съ мучительнымъ напряженіемъ разбивала послѣднія иллюзіи.

По его собственнымъ словамъ, онъ былъ униженъ. Самолюбіе его было оскорблено, онъ сердился на самого себя. Совѣсть грызла за прежнія увлеченія и прежнія ошибки, и онъ чувствовалъ невыносимую усталость. Ему нужна была тогда грудь друга, который бы принималъ безъ суда и осужденія его исповѣдь, былъ бы несчастенъ его несчастіемъ; но кругомъ разстидалась пустыня, близкаго не было никого. Убѣгая отъ самого себя, онъ заѣхалъ въ Лондонъ. Онъ думалъ провести здѣсь мѣсяцъ—два, но мало-по-малу убѣдился, что некуда ему ѣхать и не за чѣмъ. Такого отшельничества, какъ въ Лондонѣ, онъ не могъ найти нигдѣ.

* * *

Въ Лондонѣ Герценъ очутился опять въ обществѣ политическихъ эмигрантовъ всѣхъ странъ и націй. Здѣсь въ это время жили Кошутъ и Маццини, сюда заглянулъ Гарибальди. Герценъ познакомился съ нимъ, и это знакомство навсегда осталось однимъ изъ

лучшихъ воспоминаній его жизни. Это случилось въ 1854 году, когда знаменитый итальянецъ только что вернулся изъ Южной Америки и стоялъ съ своимъ кораблемъ въ Вестиндскихъ докахъ.

«Я — рассказываетъ Герценъ — отправился къ нему съ однимъ изъ его товарищей по римской войнѣ. Гарибальди въ толстомъ свѣтломъ пальто, съ ярко-краснымъ шарфомъ на шеѣ и фуражкой на головѣ казался мнѣ больше истымъ морякомъ, чѣмъ тѣмъ славнымъ предводителемъ римскаго ополченія, статуэтки котораго въ фантастическомъ костюмѣ продавались во всемъ мірѣ. Добродушная простота его обращенія, отсутствие всякой претензіи, радшіе, съ которыми онъ принималъ, располагали въ его пользу. Экипажъ его почти весь состоялъ изъ итальянцевъ; онъ былъ глава и власть, и, я увѣренъ, власть строгая, но всѣ весело и любовно смотрѣли на него; они гордились своимъ капитаномъ. Въ его простыхъ и безцеремонныхъ разговорахъ мало-по-малу становилось чувствительно присутствие силы; безъ фразъ, безъ общихъ мѣстъ, народный вождь, удивлявшій свою храбростью старыхъ солдатъ, обличался, и въ капитанѣ корабля легко уже было узнать того узавленного льва, который, огрызаясь на каждомъ шагѣ, отступалъ послѣ взятія Рима и, растерявъ своихъ соподвижниковъ, снова сзывалъ въ Санъ-Марино, Ломбардіи, Равеннѣ, въ Тиролѣ, въ Тесино солдатъ-мужиковъ, бандитовъ, кого попало, чтобы только снова ударить на врага, и это возлѣ тѣла своей подруги, не вынесшей всѣхъ трудностей и лишений похода.

«Когда онъ отплывалъ за углемъ въ Ньюкестль и оттуда отправлялся въ Средиземное море, я сказалъ ему, что мнѣ ужасно нравится его морская жизнь и что изъ всѣхъ эмигрантовъ онъ избралъ благую часть.—«А кто не велитъ имъ сдѣлать то же? — съ жаромъ возразилъ Гарибальди.—Это была моя любимая мечта, сбійтесь надъ ней, если хотите, но я и теперь ее люблю. Меня въ Америкѣ знаютъ, я могъ бы имѣть подъ моимъ начальствомъ три-четыре такихъ корабля. На нихъ я взялъ бы всю эмиграцію. Что теперь дѣлать въ Европѣ? привыкать къ рабству, изиѣнять себѣ или въ Англіи ходить по міру. Что же лучше моей мысли (и лицо его просвѣтлѣло), что же лучше, какъ собраться въ кучку возлѣ нѣсколькихъ мачтъ и посясть по океану, закаляя себя въ суровой жизни моряковъ, въ борьбѣ съ стихіями, съ опасностью. Плавающая революція, готовая пристать къ тому или другому берегу—независимая и недосыгаемая! Въ эту минуту онъ мнѣ казался какимъ-то классическимъ героемъ изъ «Энеиды», о которомъ—живи онъ въ иной вѣкъ—сложилась бы своя легенда.»

Зато какъ обижался же потомъ Герценъ, когда Гарибальди при второмъ посѣщеніи Англіи вдругъ увидѣлъ у себя въ пріемной министерство въ полномъ составѣ и долженъ былъ выслушать длинную рѣчь, въ которой одинъ изъ most honourables — именно Глад-

стонъ—доказывалъ ему, что онъ боленъ. Гарибальди понялъ, чего отъ него желали, и сухо отвѣчалъ: «Я уйду черезъ два дня». Возмущенный, обиженный, Герценъ не разъ возвращается къ этому эпизоду, иллюстрируя имъ европейскіе нравы.

Въ 1856 г. въ Лондонъ пріѣхалъ Огаревъ. Старые товарищи встрѣтились по братски и рѣшили болѣе не разставаться; они даже поселились въ одномъ и томъ же домѣ, и скоро общая, горячая работа закипѣла: именно сталъ выходить «Колоколъ» и начался новый, послѣдній періодъ въ жизни Герцена.

Благодаря условіямъ времени, потребность въ живомъ, смѣломъ словѣ была особенно настоятельной. Герценъ и Огаревъ удовлетворяли ей, и успѣхъ «Колокола» на первыхъ порахъ былъ большой и серьезный. Работа была раздѣлена по темпераменту. Передовыя статьи и смѣсь писалъ Герценъ, Огаревъ печаталъ свои стихи и разбирался во внутреннихъ вопросахъ. Девизомъ «Колокола» было *Освобожденіе крестьянъ съ землею*.

✕ Кажется, еще и теперь многіе держатся мнѣнія, что «Колоколъ» былъ революционнымъ органомъ, чѣмъ-то вроде подпольнаго изданія съ проповѣдью насилія и утопій. Это—взглядъ совершенно ошибочный, который не разъ уже получалъ достойное и энергичное опроверженіе, но продолжаетъ держаться по рутинѣ, а можетъ быть и по чему либо другому. Дѣло обстоитъ значительно проще. Въ первый періодъ броженія на главномъ планѣ стоитъ крестьянскій вопросъ. Общество было исполнено смутныхъ тревогъ. Люди самыхъ противоположныхъ партій ждали, что этотъ вопросъ разрѣшится потрясеніемъ всего общественнаго строя. Между тѣмъ Герценъ въ это время съ свѣтлымъ энтузіазмомъ привѣтствовалъ въ своемъ «Колоколѣ» начинанія правительства. Онъ доказывалъ, что разрѣшеніе этого вопроса правильно, т. е. освобожденіе съ надѣломъ земель, и не только не можетъ повести къ революціи, а еще болѣе приваждаетъ народъ къ правительству. Со всѣхъ сторонъ сыпались къ нему письма, обвинявшія его въ умиротворенности. Отъ него ждали какой нибудь революціонной программы. Но Герценъ отвѣчалъ на всѣ эти обвиненія и ожиданія, что, увидѣвши, что на знамени новаго движенія въ Россіи стоитъ не конституція, не республика, не парламентъ, не муниципальная свобода, не война съ Австріей, не завоеваніе Турціи, а освобожденіе крестьянъ съ землей—онъ бросилъ все и прилѣпился къ этому жизненному вопросу для Россіи,

и въ этомъ причина всего успѣха «Колокола». Если же среди распрей, споровъ и общественной борьбы изъ-за крестьянскаго вопроса «Колоколъ» сталъ бы звонить о всемірной республикѣ, о солидарности народовъ, то читатели «Колокола» не замедлили бы сказать: что вы намъ толкуете о всемірной республикѣ, которой нигдѣ нѣтъ, о братствѣ народовъ, которые вездѣ рѣжутся; мы все это читали у Руссо и Вольтера, въ исторіи первой революціи и газетахъ 1848 года. У насъ теперь забота растолковать, что такое усадебная земля и сколько десятинъ пашни дать крестьянину, — ну, гдѣ же читать ваши декламации?

× Декламации дѣйствительно были излишни. Рѣчь шла о вопросахъ практическихъ, жизненныхъ, рѣшать которые можно было лишь путемъ «примиренія противорѣчій» различныхъ, заинтересованныхъ въ дѣлѣ сторонѣ. Нуженъ былъ чисто политическій тактъ, и этотъ тактъ оказался у Герцена: во многихъ вопросахъ онъ болѣе чѣмъ сдержанъ, несмотря на все свое воодушевление. ×

Я уже говорилъ о томъ, чѣмъ былъ манифестъ 19-го февраля для поколѣнія сороковыхъ годовъ. Герценъ назвалъ его какъ-то манной небесной, живою водою, и въ звонѣ его «Колокола» за этотъ періодъ слышится что-то торжествующее, радостное: и на этотъ разъ жизнь не обманула, а, напротивъ, открыла въ будущемъ хорошія перспективы. Можно, значить, жить, работать, даже смѣяться.

Популярность Герцена росла со дня на день: только теперь онъ узналъ славу и увидѣлъ, что его цѣнятъ по достоинству. Не прошло и года, какъ со всѣхъ концовъ Россіи ему стали присылать всевозможныя статьи и документы: слѣдственные дѣла и пр. Мало того, безчисленные туристы, между которыми были люди съ очень громкими именами, являлись въ Лондонъ. Все влекло туда, и любопытство, и желаніе похвалиться свиданіемъ съ Герценомъ, на что администрація того времени смотрѣла сквозь пальцы. Самый «Колоколъ» почти свободно обращался въ Россіи, переходя изъ рукъ въ руки.

Русскіе путешественники — рассказываетъ Пассекъ — были въ восторгѣ отъ Герцена; они не могли надвинуться, что такой геніальный человѣкъ такъ радушно принималъ ихъ, показывалъ имъ Лондонъ, угощалъ устрицами въ лондонскихъ тавернахъ и оживлялъ своими добродушнымъ юморомъ, безъ малѣйшей аффектаціи, просто, весело, умно. Все это поражало посѣтителей и привлекало къ нему. Нѣкоторые относились сердечно и къ Огареву, но обаянія Герцена никто не избѣжалъ...

* * *

Входить въ подробную оцѣнку идей, представителемъ которыхъ былъ «Болоколъ», я не буду. Остановлюсь лишь на двухъ-трехъ существеннѣйшихъ пунктахъ. Слова, которые стояли на знамени газетъ: «освобожденіе крестьянъ съ землею», давали тонъ всему содержанію. Проповѣдуя эту истину, видя въ ней не только осуществленіе своихъ завѣтныхъ желаній, но и желаній всѣхъ кабальныхъ людей Европы—все равно, въ какой бы кабаль они ни обрѣтались,—Герценъ забывалъ свою меланхолю, свой душевный разладъ. Съ каждымъ днемъ въ немъ крѣпло убѣжденіе, что Россія, а не Европа, разрѣшить социальный вопросъ, и разрѣшить его мирно, безъ красныхъ призраковъ. Въ революцію онъ разувѣрился уже совершенно; много воды утекло съ 48-го года, и возвращаться къ мыслямъ о возможности быстрой перемѣны могущественнаго мѣщанскаго строя Герценъ не хотѣлъ и не могъ. Когда появились прокламаціи, онъ немедленно же осмѣялъ ихъ составителей. Онъ сравнивалъ ихъ съ дѣтьми, которыхъ восхищаетъ терроръ революціи, какъ дѣтей—терроръ сказокъ съ своими чародѣями и чудовищами. При этомъ онъ категорически заявилъ, что давно разлюбилъ обѣ чаши, полныя крови—статскую и военную, и равно не хочетъ пить изъ черепа боевыхъ враговъ, ни видѣть голову герцогини Ламбаль на пикѣ, что какая бы кровь ни текла, гдѣ нибудь текутъ слезы, что французскій терроръ всего менѣе возможенъ у насъ, такъ какъ у насъ нѣтъ ни новыхъ догматовъ, ни кровавыхъ катехизисовъ для оглашенія; наша «реформація» должна начаться съ сознательнаго возвращенія къ народному благу, къ началамъ, признаннымъ народнымъ смысломъ и вѣковымъ обычаемъ. Закрѣпляя право каждого на землю, т. е. объявляя землю тѣмъ, чѣмъ она есть, т. е. неотъемлемой стихіей, мы только пополняемъ и обобщаемъ народное представленіе объ отношеніи человѣка къ землѣ. Отрекаясь отъ формъ, чуждыхъ народу, навязанныхъ ему полтора вѣка назадъ, мы продолжаемъ прерванное и отклоненное развитіе, вводя въ него новую силу мысли, науки...

✕ Затѣмъ, говоря объ общинѣ, Герценъ выставялъ на видъ тотъ глубокой смыслъ, который община могла бы получить при правильномъ развитіи русскихъ экономическихъ народныхъ началъ, и противопоставлялъ ее европейскому социализму. Разрушеніе общины представлялось ему варварствомъ и преступленіемъ противъ исторіи. Слишкомъ наученный опытомъ своей тяжелой жизни, онъ пони-

малъ, какъ надо дорожить всѣми тѣми ячейками, изъ которыхъ могло развиваться лучшее будущее. Ничего восторженнаго и дѣтски довѣрчиваго въ отношеніи Герцена къ общинѣ нѣтъ. Онъ не требовалъ ея сохраненія въ томъ видѣ, въ какомъ она существовала:—вѣдь жизнь не музей рѣдкостей и не археологическая коллекція,—а думалъ, что община, оплодотворенная наукой, мыслью, удалить много ненужныхъ страданій изъ жизни русскаго народа.

Отсюда просто и естествененъ переходъ къ всесословной волости, такой т. е., гдѣ бы рядомъ, рука объ руку, работали и самоуправлялись интеллигенты—безразлично, изъ какого класса общества—и крестьяне.

Таковы мысли Герцена. Жизнь не поддержала ихъ, не претворила въ себѣ, а большую ихъ часть выбросила въ мусорную кучу исторіи—гдѣ, порывшись, мы могли бы отыскать вѣроятно много умнаго, талантливаго, благороднаго. Но что дѣлать? и кто въ этомъ виновать? Герценъ, разумѣется, переоцѣниваетъ живучесть общины, но въ тѣ дни такая переоцѣнка была больше, чѣмъ простибельна. Никто не зналъ и не могъ знать, что въ 1861 году община была уже разрушена или, лучше сказать, уже разложилась подъ вѣковымъ вліяніемъ крѣпостного права, что она была лишь кокономъ, изъ котораго давно уже вышло живое существо. Цѣлыхъ полтора вѣка повсюду, особенно въ центральной полосѣ Россіи, «міра» не существовало, зато въ избыткѣ существовалъ помѣщичій деспотизмъ, который медленно, тихо, систематически разлагалъ общину.

Въ 1861 г. должны были не возстановлять общину, а возсоздавать ее, т. е. сдѣлать дѣло не для рукъ человѣческихъ.

Этого, повторяю, Герценъ не видѣлъ и не могъ видѣть. Къ тому его программа была полнѣе и устойчивѣе для жизни, чѣмъ та, которая была осуществлена въ дѣйствительности.

Но особенно поучительно во всѣхъ вышеприведенныхъ взглядахъ является не экономическая, а философско-историческая ихъ сторона. Съ одной стороны Герценъ требуетъ сохраненія народныхъ историческихъ формъ жизни, съ другой—онъ особенно подчеркиваетъ преимущество Россіи передъ Европой въ дѣлѣ соціального обновленія. За то и другое онъ не разъ слышалъ обращенное къ нему прозваніе: «славянофилъ»,—прозваніе, во всякомъ случаѣ, непріятное

для человѣка, который жилъ и выросъ совсѣмъ въ другихъ взглядахъ и самъ принималъ горячее участіе въ борьбѣ съ «славянами».

Славянофиломъ Герценъ не былъ никогда и не могъ быть; его жизненный опытъ и темпераментъ по необходимости дѣлали его человѣкомъ другого лагеря. Славянофильство—вѣдь это тоже утопія, къ тому же довольно наивная. Требовалось захотѣть и вернуться назадъ, къ старымъ формамъ жизни. Но развѣ захотѣть такъ легко, и развѣ когда человѣкъ захотѣлъ, все такъ и дѣлается по его желанію. У исторіи свои законы, свой ходъ, своя воля. Человѣкъ и его воля только элементъ, и едва ли даже значительный, въ дѣлѣ созиданія исторіи. Климатъ, наслѣдственность, традиція, экономическая обстановка, окружающая его, собственная инертность могли бы, правильно растолкованные, значительно поубавить его гонору.

Герценъ сказалъ однажды: «признать, что никакого выхода нѣтъ, — тоже выходъ»; затѣмъ результатомъ своего жизненнаго опыта онъ выставлялъ «смиреніе», какъ преклоненіе передъ истинной, какъ пожертвованіе самонадѣянными человѣческими иллюзіями. Разбирая какой нибудь жизненный практическій прое́кътъ, онъ прежде всего ставилъ вопросъ о его возможности или невозможности. Очевидно поэтому, что съ славянами онъ долженъ былъ расходиться въ существеннѣйшемъ пунктѣ: у него не было ихъ вѣры во всемогущество человѣка, не было вѣры и въ то, что человѣку можетъ прійти откуда нибудь могущественная посторонняя помощь.

Онъ разочаровался въ Европѣ, но это не было безусловнымъ разочарованіемъ пессимиста. До того, чтобы заподозрить состоятельность науки, знанія, — онъ не доходитъ никогда. Въ его глазахъ они были и остались навсегда обновляющими силами, источниками живой воды.

«Наука—писалъ онъ между прочимъ—спасла бы Базарова, онъ пересталъ бы глядѣть на людей свысока, съ глубокимъ, нескрываемымъ презрѣніемъ... Наука учить насъ смиренію. Она не можетъ ни на что глядѣть свысока, она не знаетъ, что такое свысока, она ничего не презираетъ, никогда не лжетъ для роли, ничего не скрываетъ для кокетства. Она останавливается передъ фактами, какъ изслѣдователь, иногда какъ врачъ, никогда какъ палачъ, еще меньше съ враждебностью и ироніей. Наука—любовь, какъ сказалъ Спиноза о мысли и вѣдѣніи.»

Эту-то любовь и призывалъ Герцень въ Россію, чтобы обновить ее...

Но, разумѣется, онъ первое время поторопился взвинтить себя.

«Теперь я бѣхусь—писалъ онъ—отъ несправедливости узколобыхъ публицистовъ, которые умѣютъ видѣть деспотизмъ только подъ 59-мъ градусомъ сѣверной широты. Откуда и почему двѣ разныя мѣрки? Осмѣивайте и позорьте, какъ хотите, петербургскій абсолютизмъ и наше терпѣливое послушаніе, но позорьте-же и указывайте деспотизмъ повсюду, во всѣхъ его формахъ, является ли онъ въ видѣ президента республики, временнаго правительства или національнаго собранія.» (Страховъ, «Борьба съ Западомъ», стр. 116.)

Непониманіе и враждебность иностранцевъ были постояннымъ жаломъ, возбуждавшимъ Герцена къ защитѣ Россіи. Въ пылу полемики онъ натягивалъ свои аргументы и возводилъ въ квадратъ свое построеніе, *хотя, разумѣется, втѣрить въ Россію, ея будущность, какъ и въ будущность каждую вообще народа,—не грѣхъ и не преступленіе, а скорѣе наоборотъ. Эта вѣра крѣпитъ, лишь бы не превращалась она въ догматъ, нетерпящій ни возраженія, ни ограниченія. Общую свою мысль Герцень выражаетъ такъ:*

«Мнѣ кажется, что есть нѣчто въ русской жизни, что выше общины и государственнаго могущества; это нѣчто трудно уловить словами, а еще труднѣе указать пальцемъ. Я говорю о той внутренней, но вполне сознательной силѣ, которая столь чудесно сохранила русскій народъ подъ игомъ турецкихъ ордъ и нѣмецкой бюрократіи, подъ восточнымъ татарскимъ кнутомъ и подъ западными капральскими палками;—о той внутренней силѣ, которая сохранила прекрасныя и открытыя черты и живой умъ русскаго крестьянина подъ унижительнымъ гнетомъ крѣпостного состоянія, которая на царскій приказъ образоваться отвѣтила черезъ сто лѣтъ колоссальнымъ явленіемъ Пушкина;—о той наконецъ силѣ и вѣрѣ въ себя, которая жива въ нашей груди. Эта сила ненарушимо сберегла русскій народъ, его непоколебимую вѣру въ себя, сберегла внѣ всякихъ формъ и противъ всякихъ формъ; для чего?.. покажетъ время». И дальше: «Россія является послѣднимъ народомъ, полнымъ юношескихъ стремленій къ жизни въ то время, когда другіе чувствуютъ себя усталыми и отжившими.»

*
*
*

Слава Герцена и «Колокола» продолжалась недолго. Обѣ крайнія партіи красныхъ и умѣренныхъ возстали противъ него. Дѣло началось съ красныхъ. Герцена стали обвинять въ умѣренности, онъ не сумѣлъ удержаться на своей позиціи, и «Колоколъ» быстро сталъ принимать другой характеръ, другую окраску.

Въ 1862 г. въ Лондонъ прїѣхалъ другъ Герцена, Бакунинъ, только что бѣжавшій изъ Сибири черезъ Америку, и сталъ работать въ «Колоколѣ». Это тотчасъ же отразилось на тонѣ и выборѣ матеріала: газета стала красной, пожалуй, даже анархической.

«Личность Бакунина—говоритъ Пассекъ—была странна и замѣчательна: умный, начитанный, обладающій даромъ слова, проникнутый нѣмецкой философїей, онъ иногда былъ молодушень, какъ ребенокъ, которому хочется какого нибудь дѣла: если печатать—то прокламаціи; если дѣйствовать, то все вездѣ поставить вверхъ дномъ, ничего не щадить, никогда не задаваться мыслью, что изъ этого можетъ выйти—идти напроломъ.»

Герценъ любилъ Бакунина, любилъ его за его добродушіе, безпечность, которыя заслужили ему прозваніе «большой Лизы», любилъ въ немъ, наконецъ, старо-барскую широту натуры. Но онъ ясно видѣлъ, что дѣлать съ нимъ какое нибудь дѣло—трудно, едва ли даже возможно. Бакунинъ, напр., въ 48 году возбуждалъ рабочихъ противъ ихъ же правительства, объѣхалъ югъ Европы, проповѣдуя повсюду анархизмъ, попалъ въ австрійскую крѣпость, былъ выданъ Россіи, сосланъ въ Сибирь и вернулся въ Лондонъ готовый на все, съ проповѣдью «въ топоры!». Художникъ Ге рассказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ, что однажды на вопросъ, вѣрить ли онъ въ то, что проповѣдуетъ, Бакунинъ отвѣчалъ: «не знаю, но лишь бы все это завертѣлось, закрутилось и потомъ—головой внизъ»...

«Бакунинъ,—продолжаетъ Пассекъ,—часто вредно вліялъ на Герцена, обыкновенно черезъ Огарева. Онъ настаивалъ на своей программѣ, а эта программа скоро запугала всѣхъ и прямо противорѣчила тому, что раньше говорилось въ «Колоколѣ».»

Польская струнка живѣе забила въ вольной русской типографіи. Сначала Бакунинъ помѣщалъ въ «Колоколѣ» свои статьи, но Герценъ находилъ ихъ крайними, боролся, сколько могъ, и предложилъ Бакунину говорить съ публикой черезъ отдѣльные брошюры. Но съ настойчивостью Бакунина справиться было не легко, и пришлось уступать все больше и больше. Прїѣзжавшіе теперь въ Лондонъ русскіе, замѣтивъ «польскій» духъ, говорили съ упреками о заступничествѣ повстанцевъ. Герценъ отвѣчалъ рѣзко, что гуманность — его девизъ, что онъ всегда будетъ на сторонѣ слабого, что онъ не можетъ цѣною неправды купить сочувствія соотечественниковъ. Это, разумѣется, только подливало масла въ огонь.

Какъ упорно старался удержатъ Герценъ свою газету въ преж-

немъ направленіи, понимая, что вмѣшательство въ польскія событія только погубить ее, видно хотя бы изъ слѣдующаго краткаго разсказа Тучковой въ ея *Воспоминаніяхъ*.

«Еще до освобожденія крестьянъ прїѣзжали въ Лондонъ три члена ржонда. Они прїѣзжали затѣмъ, чтобы заручиться помощью Герцена. Увидавъ ихъ, Бакунинъ началъ было говорить о тысячахъ, которыхъ Герценъ и онъ могутъ направить, куда хотятъ. Но, слушая Бакунина, они вопросительно смотрѣли на Герцена, и тотъ сказалъ откровенно, что не располагаетъ никакой матеріальной силой въ Россіи, но что онъ имѣетъ вліяніе на нѣкоторое меньшинство своимъ словомъ и искренностью. Сначала Герценъ убѣждалъ этихъ господъ оставить всѣ замыслы возстанія, говоря, что не будетъ пользы: Россія-де сильна, Польша съ ней не тягаться. Россія идетъ путемъ постепеннаго прогресса, пользуйтесь тѣмъ, что она выработаетъ. Ваше возстаніе ни къ чему не приведетъ, только замедлитъ или даже повернетъ вспять ходъ развитія Россіи, а стало бытъ и вашего. Передайте ржонду мои слова. Въ чемъ же можетъ состоять сближеніе между нами,—продолжалъ Герценъ.—Жалѣя Польшу, мы не можемъ сочувствовать ея аристократическому направленію; освободите крестьянъ съ землею, и у насъ будетъ почва для сближенія. Но посланные ржонда молчали или уклончиво говорили, что освобожденіе крестьянъ еще не подготовлено въ Польшѣ. Тогда Герценъ возразилъ, что въ такомъ случаѣ не только русскіе не будутъ имъ сочувствовать, но что и польскіе крестьяне поймутъ, что имъ не за что подвергаться опасности, и примкнуть въ концѣ концовъ въ русскому правительству, что позже и произошло въ дѣйствительности. Такъ посланники и уѣхали обратно, не получивъ отъ Герцена никакихъ обѣщаній.»

Но съ одной стороны настойчивость друзей, съ другой — дикія завыванія охранителей заставили Герцена вмѣшаться, поставить на карту все и проиграть ее. Вскорѣ Бакунинъ совершенно погубилъ дѣло, задумавъ вооруженное нападеніе на Россію.

«Польское возстаніе не было еще подавлено, и Бакунинъ рѣшился принять въ немъ участіе. Это было необходимое послѣдствіе всей его многолѣтней пропаганды въ пользу Польши. Хотя послѣдній былъ въ высшей степени образованный, начитанный, обладалъ большими познаніями и блестящимъ, находчивымъ умомъ, великодушнымъ даромъ слова, но при всемъ томъ въ немъ была дѣтская черта—слабость: жажда революціонной дѣятельности во что бы то ни стало. Въ то время поляки вездѣ искали возбудить въ себѣ сочувствіе. Наконецъ, они набрали въ Лондонѣ человекъ восемьдесятъ волонтеровъ изъ эмигрантовъ всѣхъ націй и наняли пароходъ, который долженъ былъ ихъ высадить (не помню гдѣ), откуда волонтеры прошли бы въ Польшу. Странно было то обстоятельство, что Ж., представитель ржонда въ Лондонѣ, и польскіе эмигранты обратились

за наймом парохода именно къ той компаніи, которая вела крупныя дѣла (продажа угля) съ Россіей. Бакунинъ отправился съ этой экспедиціей. Подъ предлогомъ, что нужно запастись водой, капитанъ бросилъ якорь у шведскихъ береговъ. Тутъ простояли двое сутокъ; на третій день спросили капитана, скоро-ли въ путь; тогда онъ объявилъ, что далѣе не пойдетъ. Тутъ волонтеры подняли шумъ, гвалтъ, но ничего не могли сдѣлать съ упрямымъ капитаномъ. Бакунинъ отправился въ Стокгольмъ для принесенія жалобы на предательство капитана. Онъ слышалъ, что братъ короля очень образованный и либеральный, и надѣялся черезъ его содѣйствіе заставить капитана продолжать путь. Однако надежды Бакунина не осуществились. Общество въ Стокгольмѣ было очень образовано, горячо сочувствовало всему либеральному. Бакунинъ во все время былъ очень хорошо принятъ братомъ короля и честуемъ обществомъ, какъ русскій агитаторъ 1848 года. Ему безпрестанно давали обѣды, дѣлали для него вечера, пили за его здоровье, радовались счастью его лицезрѣть, но ничего не помогли относительно капитана. Прочіе эмигранты рѣшились на отважный поступокъ: наняли лодки и продолжали трудный путь. Вдругъ поднялась страшная буря, и эти несчастные смѣльчаки погибли въ бесполезной борьбѣ съ разъяренной стихіей.»

* * *

Въ бесполезной борьбѣ съ разъяренной стихіей общественнаго мнѣнія погибла и дѣятельность Герцена. Двѣ-три статьи о варшавскихъ событіяхъ—и онъ заслужилъ титулъ анархиста и измѣнника отечеству. Живая работа опять оборвалась и уже навсегда. Оставалось одно—вспоминать о прошломъ, еще разъ переживать то, что когда-то такъ волновало и мучило, что являлось теперь въ памяти преломленнымъ черезъ призму творческаго воображенія. Приходилось уже не жить больше, а лишь гулять по кладбищу, усѣянному дорогими могилами надеждъ, упованій, людей. Среди этихъ могилъ была одна, самая дорогая, самая грустная, и къ ней все чаще и чаще сталъ обращаться Герценъ. Кладбище навѣвало мысль о смерти скорой и неизбѣжной, дорогая могила, могила любимой жены робко шептала о чемъ-то другомъ, не давая отчаянію совершенно заполнить измученную душу...

* * *

По окончаніи польскаго возстанія, въ 1864 году, Герценъ оставилъ Лондонъ и вмѣстѣ съ своимъ семействомъ и Огаревыми посе-

лился въ Женевѣ. Туда же онъ перевелъ и свою типографію. Въ Женевѣ онъ жилъ постоянно вплоть до 1866 года.

Это были для него тяжелые годы. «Колоколъ» продолжалъ выходить, но ясно было, что его вліяніе пропало: одни считали его слишкомъ умѣреннымъ, другіе — чересчуръ краснымъ. Въ Россіи наступала новая эпоха, начиналась реакція, а вмѣстѣ съ этимъ партія движенія, вышедшая изъ массы общества, образовала кружки съ исключительными цѣлями и исключительною проповѣдью.

Въ Женеву то и дѣло наѣзжали молодые эмигранты, но между ними и Герценомъ было слишкомъ мало общаго, не только для того, чтобы столкнуться, но даже и для того, чтобы просто разговаривать.

Воспоминаніе объ этой молодой эмиграціи осталось очень тяжелымъ для Герцена. Онъ говорилъ о ней не иначе, какъ съ раздраженіемъ и даже отвращеніемъ. На Герцена и Огарева эмигранты смотрѣли какъ на остальныхъ инвалидовъ, какъ на прошлое. Мало по малу они приняли покровительственный тонъ и стали поучать стариковъ, упрекать ихъ за барство, за комфортъ, за спокойную жизнь, и дошли, наконецъ, до того, что обвинили ихъ въ присвоеніи чужихъ денегъ!

«Я не бросаю камень въ молодое поколѣніе, — говоритъ Герценъ, — но эти представители были представителями крайности, временный типъ, переходная форма, болѣзнь, развившаяся изъ застоя... Самыя простыя отношенія съ ними были затруднительны. У нихъ не было ни воспитанія, ни научной подготовки. Конечно все это по необходимости должно было переработаться и переѣниться; жаль только, что подготовленная почва была слишкомъ проросшею плеледами.»

Но оправдывалъ ли Герценъ «накипь броженія» или обвинялъ ее — ему жилось отъ этого не легче.

Въ Женевѣ опять стало душно, невыносимо, и опять для Герцена начались подъ старость годы странствованій, беспокойнаго скитанія и тоска бездѣйствія. Столкновенія съ женевскою эмиграціей продолжались; Герценъ сердился и жаловался; но зачѣмъ намъ подымать старую пыль? Интереснѣе литературныя предпріятія Герцена; пера онъ не выпускалъ до самой смерти. Оно, какъ неизмѣнный другъ, не раздражало, не предательствовало. За эти послѣдніе годы «Колоколъ» прекратился, потомъ опять былъ возобновленъ, издавалась «Полярная Звѣзда», готовилось полное собраніе сочиненій. Обо всемъ этомъ упоминается въ письмахъ.

Напримѣръ, отъ января 1868 года, Герценъ писалъ Огареву изъ Ниццы:

«Въ «Figaro» было нѣсколько строкъ о прекращеніи «Колокола» и переведенъ весь анекдотъ о N.N. Замѣть, ни одного русскаго голоса—ни даже частнаго. «Колоколъ» умеръ, какъ Клейнмихель, «никѣмъ не оплаканъ», и мы лѣзли изъ шкуры для этой милой св.....».

Или:

«Журналы обыкновенно интересны. Какъ-то пульсъ старушки поднялся и даже «Голосъ» буйнѣтъ не въ свою голову. Въ немъ двѣ рѣзкія статьи. Далѣе, поручи Тхоржевскому достать «Revue des deux mondes» 1-го апрѣля и прочти статью Мазата о Россіи; не смотри на пошлое, шляхетски «свѣтовое» окончаніе, — статья очень интересна. Мнѣ теперь лафа—все уѣхало или уѣзжаетъ, и въ Casino человѣкъ пять и сотня журналовъ. Охъ, слѣдовало бы теперь поработать гдѣ нибудь на виду... Въ Парижѣ я увидѣлъ, что вновь было бы легко поставить барку по теченью... но... частныя дѣла могутъ больше всего мѣшаютъ всему.»

Однако желаніе поработать гдѣ нибудь на виду, на глазахъ большой публики осуществлялось крупными: лишь кое-что изъ-подъ пера Герцена попало въ русскіе журналы. Это тоже было не-пріятно, и не-пріятно главнымъ образомъ потому, что чувствовалась полная невозможность возратить прежнее... да и зачѣмъ было возвращать его?

Но, хотя бы и инвалидъ уже, или по крайней мѣрѣ человѣкъ, приговорившій себя, Герценъ не переставалъ энергично работать. Въ это время была написана большая часть его знаменитаго «Былое и Думы», — этихъ удивительныхъ мемуаровъ, полныхъ грусти, лиризма, тоски, а подчасъ злобы и ненависти. Ничего подобного я не знаю даже въ западной литературѣ—такъ богатой мемуарами, о русской же нечего и говорить: русскіе мемуары въ громадномъ большинствѣ случаевъ — простая хроника; «Былое и Думы» — настоящее художественное произведеніе. Читая его, вы не только знакомитесь съ прошлой эпохой, но и — и даже прежде всего — лично-стью автора. Лирическія отступленія безпрестанны и полны вдохновенія; ихъ можно сравнить съ лучшими пѣснями изгнанника Овидія. Васъ удивляетъ сначала, какъ рѣшается Герценъ такъ много говорить о себѣ, говорить постоянно, безъ умолку, распространяться насчетъ самыхъ интимныхъ подробностей своей жизни. Эготизмъ, поднимаясь порою до высоты элегіи, доходитъ подчасъ до наивности. Однако вы скоро миритесь и съ этою стороною дѣла.

Обаяніе огромнаго пытливаго ума, глубоко чувствующаго и глубоко изстрадавшагося сердца, какая-то подавленная грусть, разлитая по всѣмъ страницамъ, неожиданныя вспышки смертельно бьющей ироніи—все это неотразимо дѣйствуетъ на васъ, заставляетъ негодовать, смѣяться, вызываетъ въ васъ тоску. Нельзя пропустить ни одной строчки. Отрывочна лишь форма, и даже эта отрывочность кажущаяся. Съ удивительнымъ искусствомъ, съ соблюденіемъ полной гармоніи сущности, Герценъ переходитъ отъ дѣтской къ Дуббельту, отсюда ведетъ васъ въ контору Ротшильдовъ... Есть художественная стройность во всемъ этомъ разнообразіи, и вы скоро привыкаете не удивляться, когда какъ будто неожиданно вамъ предлагаютъ разсужденія о Прудонѣ... Изъ каждой строки бьетъ ключемъ настоящій искренній талантъ, изъ каждой строки на васъ смотрятъ серьезные глаза измученнаго человѣка, изстрадавшагося въ жизни, но не сломленнаго ею, не дающаго сломить себя. Эта гордость силы вызываетъ уваженіе, чаруетъ и подчиняетъ васъ себѣ. Но, несмотря на свой лиризмъ, на свои субъективные элементы, — «Былое и Думы» вмѣстѣ съ тѣмъ прекрасный историческій документъ для русской жизни 40-хъ и для западной 50-хъ годовъ. Герценъ умѣетъ излагать факты и придавать имъ окраску типичности. Такія личности, какъ Тютчевъ, описанный имъ въ «Тюрьмѣ и ссылке», годится на любую историческую картину; такія характеристики, какъ старика Яковлева, его брата, Химика и т. д., — подлинныя историческіе документы изъ эпохи стараго барства, грандіознаго административнаго произвола, крѣпостничества. Не хуже и «думы» — то изящныя какъ лучшія элегіи, то проникнутыя глубокой философской мыслью.

Приведу еще нѣсколько отрывковъ изъ писемъ къ Огареву.

«Фогтъ говорить, — писалъ Герценъ въ 1869 году, — что у меня сильное расположеніе къ диабету и покаместъ рекомендовалъ пить натуральныя спрудель въ Люцернѣ, а черезъ двѣ недѣли опять ѣхать въ Бернъ. Вообще мнѣ теперь лучше; но всетаки нездоровится.»

«Тата пріѣхала со мной.»

«...Здѣсь Ауэрбахъ съ женой, они недавно изъ Россіи и были въ Венѣ. Бакунинъ совершенно принадлежитъ къ партіи Эллидина и съ нимъ въ кошонной дружбѣ.»

«...Саго тіо — намъ пора въ отставку и приняться за что нибудь другое — за большія сочиненія или за длинную старость!»

Герценъ упоминаетъ здѣсь о начавшейся у него болѣзни — діа-

бетѣ, которая, осложнившись воспаленіемъ легкихъ, и свела его въ могилу ⁹/₂₁-го января 1870 года. Онъ умеръ въ Парижѣ—скитальцемъ, какъ всегда, и похороненъ по его желанію въ Ниццѣ.

Судьба щедро надѣлила Герцена умомъ, талантомъ, матеріальными средствами, и вмѣстѣ съ тѣмъ его жизнь не можетъ быть названа счастливой. Нельзя не вѣрить его искренности, и когда онъ говорить, напр. въ «Быломъ и Думахъ»:

«Разочарованіе, усталъ, Blasirtheit» сказали бы о моихъ выболѣвшихъ строкахъ демократическіе рецензенты. Да, разочарованіе! да, усталъ! Разочарованіе—слово битое, пошлое, дымка, подъ которой скрывается лѣнь сердца, эгоизмъ, придающій себѣ видъ любви, звучная пустота самолюбія, имѣющаго притязанія на все, силы—ни на что. Давно надоѣли намъ всѣ эти высшія неузнанныя натуры, исхудалыя отъ зависти и несчастныя отъ высокомірія въ жизни и романахъ. Все это совершенно такъ, а вѣдь ли нѣтъ чего нибудь истиннаго, особенно принадлежащаго нашему времени на днѣ этихъ страшныхъ психическихъ болей, вырождающихъ въ сѣтшныя пародіи и пошлый маскаррадъ...»

Вступая въ жизнь, Герценъ могъ разсчитывать на лучшую участь. Суровость, съ какою съ нимъ поступали въ юности, обидѣла эту властную гордую натуру, и онъ далъ себѣ клятву не мириться никогда. Роковой шагъ эмиграціи всю жизнь тяготѣлъ надъ нимъ своими тяжелыми послѣдствіями. Герцену пришлось скитаться всю жизнь; какъ Байронъ, онъ не нашелъ нигдѣ покоя. Швейцарія опротивѣла ему своимъ мелкимъ разсчитливымъ мѣщанствомъ, Англія—своимъ крупнымъ мѣщанствомъ, Франція—своей трусливой покорностью Наполеону. А сжечь корабли эмиграціи, вернуться въ Россію онъ не могъ, не хотѣлось—да и къ чему бы это повело? Бросая его изъ угла въ уголъ, изъ стравы въ страну, изъ города въ городъ, эмиграція окружала его всегда чужимъ обществомъ или, лучше сказать,—это общество было его только на половину. Съ эмигрантами другихъ странъ онъ не могъ чувствовать никакой кровной связи, свои собственные эмигранты доставляли больше горя, чѣмъ радости... *).

*) Но почему же Герценъ не могъ сойтись съ эмиграціей ни съ молодой, ни со старой? Да просто по той причинѣ, что его интересы и интересы все-

тельная, которой я, по весьма понятнымъ причинамъ, лишь слегка коснулся въ очеркѣ.

Терпѣть, не жаловаться? Но у Герцена натура была не такова. Его злоба, раздраженіе, грусть неотразимо просились наружу, какъ просились они у Байрона и у всѣхъ людей того же гордаго типа. И Герценъ, и Байронъ могли писать *только о себѣ*; своими насмѣшками надъ врагами, своими жалобами на свою долю они наполняли цѣлыя страницы, цѣлые томы. Русскій изгнанникъ чувствовалъ, что онъ сродни великому англійскому поэту.

«Байронъ,—пишетъ Герценъ,—нашедшій слово и голосъ для своего разочарованія и своей усталы, былъ слишкомъ гордъ, чтобы притворяться, чтобы страдать для рукописекъ; напротивъ, онъ часто горькую мысль свою высказывалъ съ такимъ юморомъ, что добрые люди помирали со смѣху. Разочарованіе Байрона больше, чѣмъ ка-

возможныхъ эмигрантовъ были въ сущности совершенно различны. Герценъ постоянно смотрѣлъ впередъ и гораздо больше видѣлъ въ немъ, читалъ въ немъ, чѣмъ върилъ въ него. Онъ предсказалъ неуспѣхъ революціи 48-го года, франко-германскую войну, торжество политикъ Бисмарка. Онъ былъ настроенъ на мрачный ладъ, и что же было дѣлать ему среди фанатиковъ, ожидавшихъ торжества своихъ идей, проевтовъ, предположений чуть ли не на завтрашній день. Ему не было мѣста между ними еще и потому, что въ немъ крѣпко сидѣла черта, общая почти всѣмъ дѣятелямъ 40-хъ годовъ, за исключеніемъ одного Бѣлинскаго—это черта умственного аристократизма, своего рода даже пресыщенія. Старое барство отзывалось въ этомъ и всегда съ невыгодой для тѣхъ, кто былъ его преемникомъ. Возьмите Тургенева и Герцена,—оба они, не смотря на весь демократизмъ своихъ убѣжденій, никакъ не могли сойтись съ тѣми людьми, которые были плоть отъ плоти и кровь отъ крови демократіи. Ихъ коробили манеры, языкъ, замашка «новыхъ людей», выступившихъ въ Россіи на сцену въ шестидесятыхъ годахъ. Они искали изящества, особенной утонченности чувствъ и идей и, разумѣется, не находили ихъ у дѣятелей, явившихся на сцену ихъ поколѣнія. Но больше всего ихъ мутило — и это настоящее слово—отъ догматизма мысли, отъ всего, что провозглашалось съ безусловной самоувѣренностью и съ ненавистью къ какому бы то ни было ограниченію, возвращенію, колебанію. Они извѣдали слишкомъ много, ихъ жизнь была слишкомъ богата, они не признавали никакого подчиненія. Въ ихъ взглядъ навсегда слышится пресыщеніе и утомленность. Художественная записка, своего рода дилетантскій жизни ставилъ между ними и истинными «практиками» непреодолимую преграду—и это несмотря на искреннее желаніе обѣихъ сторонъ говорить, несмотря даже на общность теоретическихъ убѣжденій. Умственный аристократизмъ — очень характеренъ, повторю, для Герцена, но полное его разясненіе завело бы насъ слишкомъ далеко. Наша задача заключалась лишь въ томъ, чтобы указать на тѣ мысли Герцена, которые сыграли историческую роль.

